

Эли Берте

ЖЕВОДАНСКИЙ ЗВЕРЬ



Эли Берте
Жеводанский зверь

«Седьмая книга»

1858

Берте Э.

Жеводанский зверь / Э. Берте — «Седьмая книга», 1858

Франция, вторая половина XVIII века. В провинции Жевадан появляется страшное существо, прозванное жителями Зверем, оно безжалостно убивает женщин и детей. Счет идет уже на сотни жертв. Зверь кажется неуловимым, уходя от многочисленных облав, его не берут пули, он исчезает так же внезапно как появляется, и только немногие выжившие способны описать его внешность.

© Берте Э., 1858

© Седьмая книга, 1858

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	12
Глава третья	17
Глава четвертая	25
Глава пятая	35
Глава шестая	42
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Эли Берте

Жеводанский зверь

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Глава первая

Лангонь, крошечный городишко в бывшем Жеводане, составляющем ныне границу департаментов Лозера и Ардеша, расположен среди возвышенных гор и лесов, которые делают доступ к нему очень трудным. Хотя этот городок был очень оспариваемым постом в ту эпоху, когда религиозные войны опустошали Севеннские горы, а особенно во время возмущения камизаров после отмены Нантского эдикта, его положение в стране, неплодородной, лишенной ресурсов и торговли, не допускало какое-нибудь развитие. Даже в наше время Лангонь показался бы жалким селением повсюду, кроме департамента, лишенного больших центров народонаселения и где главный город имеет менее важности, нежели некоторые деревни в окрестностях Парижа.

В один из дней начала осени 1764 года, небольшое число жителей, которых полевые работы оставили в Лангони, казались чрезвычайно взволнованными. Бальи, сопровождаемый барабанщиком, ходил по городу, зачитывая своим подданным прокламацию, возбуждавшую живой интерес. Закутанный в черный плащ, в огромном парике и четырехугольной шапке, он шел со всей возможной важностью со свернутой бумагой в руке. На каждой площади, на каждом перекрестке он останавливался, барабанщик начинал барабанить, потом бальи, развернув бумагу, посреди глубочайшего молчания читал гнусавым голосом официальный акт, который ему поручено было довести до сведения жителей. Чтение это происходило на двух языках: сначала по-французски, потом на местном наречии – предосторожность необходимая, потому что французский язык не был тогда очень распространен в этой провинции и бальи рисковал бы не быть понятым одним из ста своих слушателей.

В чем же состояла эта торжественная прокламация, которая взволновала жителей Лангони, как ранее уже взволновала все города и все деревни этой провинции?

Уже несколько месяцев край опустошало таинственное животное, которое население считало чудовищным волком и называло жеводанским зверем. Он пожрал уже очень много людей – мужчин, женщин и детей. Ежедневно приходило известие о новом несчастье; поселяне не смели выходить иначе как вооруженные и целой толпой, чтобы заниматься своими заботами, но, несмотря на предосторожности, несчастья непрерывно увеличивались. Приказано было устроить охоту, и все окрестные охотники соединились, чтобы захватить или убить этого таинственного зверя; лес, в котором он чаще всего рыскал, был тщательно осмотрен. Столько же хитрый, сколько и беспощадный, зверь сумел непонятым образом укрыться от облавы, а этим же вечером, ещё несколько молодых пастухов и одиноких странников были растерзаны в этом же лесу, только что оставленным охотниками.

Такое положение дела возбуждало всеобщие жалобы. Ужас, царствовавший в провинции, был так велик, что власти, наконец, серьезно взолись за это. В прокламации, прочитанной бальи, назначалось две тысячи ливров премии от Лангедокских штатов тому, кто убьет жеводанского зверя. К этой сумме синдики Менда и Вивье прибавляли пятьсот ливров. Кроме того, он приглашал всех доброжелательных людей, вооруженных или нет, явиться на другой день в замок Меркоар, находившийся в нескольких лье от города, чтобы участвовать в новой охоте, которой будет распоряжаться Ларош-Буассо, начальник над волчьей ловлей и один из жеводанских баронов.

Бальи, обойдя, как мы сказали, площади и перекрестки Лангони, что продолжалось недолго, начал читать в последний раз свою прокламацию в конце главной улицы, перед гостиницей, где непременно должны были останавливаться путешественники, потому что другой здесь не было. Окончив свое дело, бальи отпустил барабанщика, потом, не желая отвечать на вопросы людей, собравшихся вокруг него, между которыми находились почетные жители, удалился домой величественными шагами.

Однако, его уход не заставил разойтись толпу, собравшуюся перед дверью гостиницы, где с жаром продолжали обсуждать событие этого дня.

– Две тысячи пятьсот ливров! – повторял худощавый маленький человечек, торговец швейными товарами. – Мендские и лангедонские синдики хорошо поступают, да еще уверяют, что король прибавит к этой сумме четыреста или пятьсот ливров из своей собственной шкапулки... Много нужно отмерить аршин холста и тесёмок, чтобы заработать столько денег!.. Если жена позволит, я сниму со стены старое ружье моего деда и пойду завтра вместе с другими в замок Меркоар попытать счастья.

– В таком случае зверю стоит только хорошо держаться, сосед Гильяр, – сказал с насмешкой поверенный в делах лангоньского аббатства, – я охотно побьюсь об заклад, что мадам Гильяр рискнет своим мужем, если вы расположены сами рискнуть собой... Если уж вы так храбры, почему бы вам не отправиться к барону Ларош-Буассо и просто просить у него поставить вас на какой-нибудь хороший пост, где вы могли бы заработать эти деньги?

Гильяр соорудил такую жалобную рожу, что присутствующие громко расхохотались.

– Сказать по правде, господин поверенный, – с беспокойством отвечал Гильяр, – ружьё-то не совсем в порядке, и я сомневаюсь, успеют ли поправить его до завтра. Притом барон Ларош-Буассо не даст первого места таким ничтожным людишкам как мы; вот увидите, что барон даст огрести эти денежки кому-нибудь из наших богатых дворян.

– А почему ему самому не заработать этих денег? – возразил поверенный с насмешливой улыбкой. – Он самый искусный охотник, самый опытный стрелок во всей провинции; зачем ему уступать другим честь и прибыль этого дела? Несмотря на свою гордость, он не побрезгует двумя тысячами пятьюстами, ручаюсь вам... Сейчас всем известно, что его дела весьма запутанны...

Хорошенькая брюнетка лет тридцати шести, кокетливо одетая, с золотым крестом на шее и перстнями на каждом пальце, перебила поверенного:

– Фи! Фи! мосье Блиндэ, – сказала она скороговоркой, – можете ли вы говорить таким образом при мне о красивом и любезном дворянине, который всегда останавливается в моей гостинице, когда едет в Лангонь? Если барон Ларош-Буассо имеет долги, что же в том дурного? Такие знатные дворяне, как он, разве не принуждены иметь долги, чтобы поддерживать свое звание?... Но, может быть, без труда можно отгадать причину этих злых толков. Несмотря на ваше желание, он не хотел взять вас в свои поверенные и вверил свои интересы старику Легри. С другой стороны, с тех пор как вы поверенный городского монастыря, вы считаете себя почти принадлежащим к католическому духовенству, а эти Ларош-Буассо слышат тайными протестантами... Я не знаю, правда ли это, но могу утверждать, что никогда барон не ел у меня скоромного в пятницу; он обыкновенно довольствуется для завтрака яичницей с форелью и бутылкой моего сенперейского вина. Это вельможа учтивый и веселого характера; у него всегда найдется для хозяйки любезное словечко...

– И который всегда готов заплатить за свой завтрак поцелуем; не правда ли, мадам Ришар? – окончил лукавый поверенный.

Хорошенькая трактирщица покраснела до ушей.

– Злой у вас язык, мосье Блиндэ, – возразила она со смущенной улыбкой, – но, ради бога, не говорите так громко, потому что неизвестно, кто может вас услышать. Сказать по правде, барон Ларош-Буассо должен проехать сегодня через Лангонь по дороге в замок Меркоар и, наверно, остановится у меня закусить и дать отдохнуть лошадям... Ваши наговоры могут повредить ему. Вы знаете, – прибавила она, понизив голос, – что поговаривают об его женитьбе на мадмуазель де Баржак, богатой и прелестной владельнице Меркоара.

– Поговаривают, но я этому не верю, напротив...

Тут собеседники заговорили так тихо, что их невозможно было расслушать, зато спор между другими в группе становился шумнее и оживленнее.

– Что же это, волк или нет? – спросил городской бочар с видом недоумения. – Ведь это должно быть правительству известно, а в прокламации об этом ничего не говорится. Там упоминается только о жеводанском звере... Черт побери! Это обозначение кажется мне не довольно ясно; зверей немало в здешней стороне!

– Замечание Гривэ не совсем лишено смысла, – сказал писарь сельского нотариуса, – по обычаям процедуры, правительству следовало бы яснее определить, какого рода это животное... А в этом-то и затруднение; я два раза был писарем в следствиях по этому делу, а и теперь еще буду в затруднении сказать, человек или зверь виновник этих ужасов.

– Как это? Объяснитесь, мосье Флоризель! – закричали со всех сторон.

Писарь, по-видимому, очень гордился произведенным им впечатлением и обвел своих слушателей самоуверенным взором.

– Послушайте, – продолжал он, – первый раз это случилось с Гильомом Патюро, сыном комбевилльского мызника. Гильом, которому было шестнадцать лет, возвращался один с мендской ярмарки с десятью экю в кармане, когда вечером, в десять часов, в то время как он проходил по Вилларескому лесу, на него напал какой-то зверь. На другое утро несчастного Гильома нашли на дне оврага полурастерзанным. Судья, распорядившись следствием, показал, что на теле были следы когтей и зубов; но когти были дальше, а зубы, напротив, ближе, чем в каком бы то ни было животном наших лесов. Притом, хотя одежда мальчика была почти цела, деньги, бывшие при нем, пропали... а так как никакое лютное животное не может съесть монеты в три и шесть ливров, я говорю, что это довольно необыкновенное обстоятельство!

Все присутствующее были того же мнения, но Блиндэ, прервавший свой разговор с мадам Ришар, чтобы послушать рассказ писаря Флоризеля, презрительно покачал головой.

– Хорошо! Так вот как вы думаете, простодушный и легковверный молодой человек! – возразил он. – Когда будете поопытнее в судебных делах, вы узнаете, что проницательный судья должен отыскивать самые простые и естественные объяснения, потому что они всегда справедливы. Так и теперь, разве не может быть, что прохожий осмотрел карманы до вашего прихода? А я побьюсь об заклад, что тот, кто первый нашел тело и донес об этом, принял эту благоразумную предосторожность.

Этот урок, данный старым практиком в присутствии стольких почтенных особ, смутил Флоризеля, однако он продолжал с иронией:

– Вы человек искусный, мосье Блиндэ; жаль, что суд не часто прибегает к вашей опытности; никакой злодей на двух или четырех ногах не мог бы ускользнуть от вас. Но если вы так проницательны, объясните мне также происшествие, которые были предметом другого следствия, где я участвовал. На этот раз протокол поручено было составить матоневскому бальи; дело шло о четырехлетнем ребенке, мать которого, габриакская мызница, оставила его одного в колыбели, пока ходила в поле. Мыза эта стоит одиноко на рубеже леса; когда мать воротилась после отсутствия, продолжавшегося около часа, она нашла ребенка мертвым и растерзанным в нескольких шагах от колыбели. Но самое непонятное во всем этом то, что она поклялась нам, что, выходя, она заперла дверь дома защелкой и, когда она воротилась, дверь эта была заперта точно таким же образом. Бальи двадцать раз делал ей тот же вопрос и двадцать раз получал тот же ответ. Стало быть, если волк опустошает страну, то этот волк умеет отворять и запирает двери... Что вы скажете на это, господин Блиндэ?

Любопытство было возбуждено в самой крайней степени; слушатели обернулись к Блиндэ, чтобы услышать его мнение насчет этого затруднительного обстоятельства. Блиндэ почесал себе за ухом сверх своего огромного парика и сказал с важностью:

– Я не думаю, чтобы у волка достало инстинкта отворить дверь, запертую защелкой, хотя мы все видели, что собаки и кошки делали это. Стало быть, я не буду вам говорить, что хищный зверь, привлеченный криками ребенка, встал на дыбы и, прислонившись лапой к двери, неча-

янно поднял защелку. Я думаю скорее, что мызница ошиблась, и для извинения этой неосмотрительности...

– Еще раз повторяю, она утверждала нам клятвенно, что не может упрекать себя ни в какой небрежности; но положим, что она оставила дверь открытой, как же эта дверь очутилась запертой, когда она воротилась?

– Да достаточно было порыва ветра...

– Пусть рассудят эти господа и дамы, – сказал писарь, обращаясь к слушателям, которые действительно, казалось, не находили удовлетворительными объяснения Блиндэ, – я, несмотря на мое уважение к просвещению и опытности мосье Блиндэ, остаюсь при своем мнении, что жеводанский зверь совсем не то, что думают.

Это было сказано тоном оракула, который произвел большое впечатление на присутствующих. Наступило минутное молчание.

– По вашему мнению, что же это такое, мосье Флоризель? – спросила хорошенькая трактирщица. – Барон Ларош-Буассо уверяет, что это волк, а он, кажется, должен знать в этом толк.

– Я слышал, что это рысь... этот зверь видит через стены, – сказал бочар.

– А я думаю, что это лев, вырвавшийся из зверинца Монпелье, – прибавил торговец швейными товарами.

– А я полагаю скорее, – возразил Блиндэ с притворным хладнокровием, – что это слон. Слон, вы знаете, может делать своим хоботом разные штуки; таким образом, объясняется, что этот зверь мог отворить и затворить дверь, как уверяет мосье Флоризель.

Общий хохот принял эти слова. Только одна мадам Ришар приняла за серьезное эту шутку.

– А если бы и слон, – сказала она наивно, – барон Ларош-Буассо такой искусный охотник, он успеет с ним справиться, ручаюсь вам!

Между тем Флоризель обиделся сарказмом Блиндэ; он отвечал, закусив себе губы:

– Каждый вправе приписывать несчастья страны рыси, льву, даже слону, как предполагает мосье Блиндэ со своей обыкновенной тонкостью; но даже если бы мне пришлось одному иметь это мнение, я утверждаю, что мнимый жеводанский зверь...

– Это – волк! – сказал грубый голос из последних рядов группы. – Я это знаю, потому что видел его не позже как вчера вечером.

Новый собеседник, высокий и сильный крестьянин, пришел только в эту минуту из соседнего села. Он держал в одной руке свой кафтан и деревянные башмаки, а в другой длинную палку, к концу которой был прикреплен старый нож в виде грубого копья. За ним шла огромная собака с красным высунувшимся языком, с ошейником с острыми зубцами, которая была надежным спутником в дороге.

Флоризель, раздраженный, что его прервали в ту самую минуту, когда он собирался выразить свое личное мнение о биче, опустошавшем страну, спросил презрительным тоном, окидывая путешественника с ног до головы:

– Вы, видели жеводанского зверя? А кто вы такой, приятель, что вмешались в наш разговор так бесцеремонно?

– Я Жан Годар, – с уверенностью отвечал крестьянин, – пастух мадмуазель де Баржак. Меня послала моя госпожа к господину бальи просить добрых лангоньских жителей непременно явиться завтра на охоту, потому что надо спешить. Вчера на закате солнца зверь бросился на Жаннету, которая гнала индеек к ферме, и зверь уже кинулся на бедную девушку, когда я прибежал на ее крик. Вот эта моя собака бросилась на волка, что довольно странно, потому что все другие собаки разбегаются, увидев его, но мой зубастый Медор не оробел, и мы вдвоем освободили Жаннету. Она обезумела от страха, но отделалась только несколькими царапинами.

Такое точное свидетельство прекратило все предположения; писарь Флоризель сконфузился.

– А вы уверены, – спросил он, – что этот зверь был волк?

– Уверен ли! – отвечал Жан Годар, – я его видел, как вижу вас; я даже вырвал у него пригоршню шерсти, пока он боролся с моим храбрым Медором... Да, это волк, но такой огромный, как наш осленок. Цвета он серого, и я никак не мог проткнуть его ножом. Он тащил Жаннету, которая, однако, весьма здоровая девушка, как я тащил бы годовалого ребенка, а Медора отбросил ударом головы шагов за двадцать. Право, не знаю, как бы мы с ним справились, если бы работники с фермы не прибежали к нам на помощь, и это заставило волка удалиться в лес... Однако извините, честная компания, – продолжал крестьянин, – я должен исполнить поручение к господину бальи и спешу воротиться в замок; я так думаю, что сегодня вечером опасно будет в Меркоарском лесу, куда убежал волк!

Жан Годар засвистал своей собаке и ушел так поспешно, что не слышал посреди шума нового голоса, который говорил с испугом:

– Зверь в Меркоарском лесу! Да защитит нас Святая Дева! А ведь нам надо проезжать этот лес по дороге к мадмуазель де Баржак!

Предшествовавший разговор происходил на местном наречии, а это последнее замечание, напротив, было сказано по-французски. Удивленные этой странностью, разговаривавшие обернулись и заметили двух путешественников на лошадках, приблизившихся к группе, не будучи примеченными, и слышавших все, что было говорено.

Один из путешественников был бенедиктинец в белом и черном костюме своего ордена. Капюшон, откинутый назад, показывал волосы, обрезанные в виде венца, и умную голову, оживленную блестящими и кроткими глазами. Ему было не более сорока лет, но начало полноты, следствие сидячей жизни, а может быть, также наклонности хорошо поесть – грешок духовных лиц того времени – округлило его формы и вредило совершенной правильности его румяного лица. Его тонкая одежда и упряжь лошака показывали не простого монаха; и действительно, серебряный крест, висевший на его груди на широкой ленте, был знаком высокого духовного звания.

Товарищ его, молодой человек лет двадцати пяти, со строгостью, не лишенной изящества, имел длинные белокурые волосы без пудры и без завивки вопреки обычаям того времени. При нем не было шпаги; но шпага тогда не отличала уже достаточным образом дворян, потому что самые смиренные чиновники считали вправе завладеть этим знаком благородного звания. Черты его были прекрасны, выразительны, а во взгляде, когда он оживлялся, не было недостатка в смелости. Гибкий и хорошо сложенный, он должен был быть очень ловок во всех телесных упражнениях. Однако незнакомец, казалось, не сознавал этих внутренних достоинств. Деликатность его лица заставляла думать, что учение и размышление более занимали его свободное время, нежели игры и удовольствия, свойственные юности. Что-то скромное и сдержанное обнаруживало в нем юношу, еще недавно вырвавшегося от дисциплины сурового воспитания. Но можно было угадать в нем по некоторым резким и как бы невольным движениям, по нахмуриванию бровей, по интонациям голоса энергию и ум, которые не могут не обнаружиться при первом удобном случае.

Этот молодой всадник подражал с покорностью – происходившей, без сомнения, от продолжительной привычки – всем движениям монаха, которому он оказывал привязанность и уважение. Он остановился, когда остановился бенедиктинец, и слушал так же, как и он, жуткое известие, привезенное в Лангонь Жаном Годаром. Но он, казалось, нисколько не разделял испуга своего спутника, и ироническая улыбка, не будучи презрительной, играла на его губах, над которыми начинали пробиваться усы.

Как только добрые лангоньские граждане взглянули на путешественников, шляпы и шапки исчезли как бы по волшебству, почтительная тишина распространилась в толпе, только что шумной и оживленной.

Хорошенькая трактирщица мадам Ришар первая обрела присутствие духа.

– О! Отец Бонавантюр, настоятель Фронтенакского аббатства! – сказала она, сделав бенедиктинцу самый любезный поклон. – И мосье Леоне, племянник его преподобия...

Тут она сделала новый поклон молодому человеку, который отвечал ей тем же, покраснев.

– Добро пожаловать в наш город, почтенный отец, удостойте нас благословить.

– Благословляю и вас, дочь моя, и всех христиан, слышащих нас, – рассеянно отвечал бенедиктинец. – Но, боже мой! Мадам Ришар, я сейчас слышал, что это ужасное животное, жеводанский зверь...

– Уж наверно, – перебила трактирщица самым ласковым тоном, – вы не проедете Лангонь, не отдохнув у меня? Ваше присутствие принесет счастье моему бедному дому. Если, как я думаю, вы едете в Меркоар, вам непременно надо будет остановиться где-нибудь по дороге, и лучше уж здесь.

– Мне хотелось бы, дочь моя, – отвечал бенедиктинец, – но вы слышали, что нам нельзя запоздать, а единственная дорога в замок идет через лес.

– Вы непременно приедете в замок до ночи; согласитесь сойти с лошади, и я подам вам полдник, который вам понравится. Вы знаете, что я иногда умею угостить вас по вкусу.

Настоятель, по-видимому, почувствовал сильное искушение.

– Да, да, вы неподражаемы, признаюсь, в приготовлении голубей с шампиньонами и яичницы с форелью, моя милая мадам Ришар, но теперь нам не время предаваться чувственности, может быть, достойной порицания... Что вы скажете, Леоне? – обратился он к племяннику, – остановиться нам у мадам Ришар?

– Я в вашем распоряжении, дядюшка, – скромно отвечал Леоне, – вот уже шесть часов путешествуем мы по горам, а вы очень легко позавтракали в аббатстве; вам непременно нужны пища и отдых. С другой стороны, и лошакам нашим не худо бы отдохнуть.

– Хорошо, – сказал настоятель, аппетит которого боролся против страха, – мы здесь остановимся на минуту... Слышите, мадам Ришар, только на минуту; не заставляйте же нас ждать; нам достаточно малейшей безделицы, чтобы подкрепить наши истощенные силы. Какая жалость, дочь моя, что мы рабы нашего презренного тела!

Хорошенькая трактирщица бросила на присутствующих взгляд, исполненный гордости и радости.

– Положитесь на меня, преподобный отец! – вскричала она. – Какое счастье для моего дома!.. Пожалуйте, пожалуйста, все готово; слава богу, меня не застанут врасплох!

Она схватила за узду лошака, на котором сидел бенедиктинец, и торжественно повела его к гостинице, между тем как Леоне следовал за ними с равнодушным видом.

– Гм! – сказал Блиндэ с насмешкой. – Жалею я тех бедных путешественников, которым придется после этого остановиться у вдовы Ришар. Вместо обеда их будут потчевать рассказами о подвигах отца Бонавантюра.

Но никто не слышал этого замечания насмешника Блиндэ.

Как только любопытные увидели, что путешественники вошли в гостиницу, они разошлись разглашать повсюду, что настоятель Фронтенакского аббатства приехал в Лангонь, что он остановился со своим племянником у мадам Ришар, что они оба едут в замок Меркоар, и в городке пустились в разные предположения, от которых мы избавим слушателя.

Глава вторая

Чтобы понять сильное впечатление, произведенное в Лангони приездом отца Бонавантюра, необходимо знать, что Фронтенакское аббатство, к которому он принадлежал, было тогда самым обширным, самым богатым, самым могущественным духовным учреждением во всей провинции. Это аббатство, находившееся по соседству с Флораком, имело огромные владения, плодородную, хорошо обрабатываемую почву, многочисленных и преданных крестьян. Кроме того, по милости многих благочестивых вкладов и временных завещаний, оно имело значительное влияние на разные чужие земли. Фронтенакская братия слыла очень ученой, а монастырь уже столько веков был рассадником теологов и ученых историков, из которых многие наделали шума в свете. Аббат их имел звание прелата; он прибавлял к своему имени титул дожа, он участвовал между семью представителями духовенства в Жеводанских штатах, собиравшихся каждый год в Мандэ или Марвежолле под председательством мандского епископа.

В это время фронтенакский аббат, по причине своих лет и своей дряхлости, был не способен сам управлять монастырем, и вся его власть перешла к приору аббатства. Отец Бонавантюр, пользуясь неограниченным доверием своего начальника и фронтенакского капитула, управлял всеми делами общины. Человек ученый, трудолюбивый и набожный, он был гордостью своего монастыря, прежде чем сделался его главой. К этим качествам, так сказать монашеским, приор Бонавантюр присоединил деловитость, понятливость в делах – словом, мирское благоразумие, необходимое в стране, где еще не совсем угасли религиозные распри, где протестантская оппозиция, хотя тайная и сдержанная, часто создавала препятствия католическому духовенству. Посредством благоразумия он успел восторжествовать над тайной ненавистью, завистью, враждой, возбуждаемыми благоденствием Фронтенакского монастыря, и можно сказать, что его искусное и вместе с тем примирительное управление еще увеличивало это благоденствие.

Пусть же судят о гордости и удовольствии мадам Ришар, когда она принимала в своей маленькой гостинице такую могущественную особу с молодым родственником, ум и образованность которого все хвалили наперебой.

Бедная женщина совсем потеряла голову. Проводя своих гостей в маленькую гостиную, смежную с кухней, она обрядилась в белый передник и бегала от очага к очагу, браня своих служанок. Впрочем, все было, как будто заранее приготовлено для приема знаменитых гостей. Маленькая гостиная отличалась изумительной опрятностью – качество редкое тогда в гостиницах южной Франции. Стол был уже накрыт скатертью, белой как снег, на которой стояли корзины с великолепными фруктами, кружки с аппетитными сливками, пирамида красной земляники, холодная дичь. Эта приятная картина могла бы, кажется, отвлечь приора от его беспокойства насчет жеводанского зверя, однако, бросив ласковый взгляд на стол, приор Бонавантюр сказал трактирщице тоном сожаления:

– Снимите эту дичь, дочь моя; хотя мы с Леоне могли бы сослаться на привилегию путешественников, но не забудем, что сегодня постный день. Мы удовольствуемся яичницей с форелью и фруктами, у которых весьма аппетитный вид.

Мадам Ришар повиновалась и отнесла осужденные кушанья. Верная обещаниям, она спешила приготовить завтрак, и через несколько минут знаменитая яичница явилась в гостиную на оловянном блюде, блиставшем как серебро. Приор, подвывая салфетку под подбородок, поспешил дать волю своему аппетиту, а Леоне, которому движение и резкий воздух гор освежили желудок, подражал ему. Несколько рюмок превосходного вина окончательно подкрепили душу и тело путешественников, так что дядя и племянник, в особенности же первый, совсем не торопились уже отъезжать.

Трактирщица беспрестанно суетилась около них; она сама прислуживала таким важным гостям и старалась между тем ловко выпытать от них о цели их пугешествия.

– Это чудо, истинное чудо, – говорила она, – видеть в Лангони приора Фронтенакского; но, без сомнения, отец Бонавантюр со своим племянником едут в Меркоар присутствовать на большой охоте, которая должна происходить завтра?

– Похож ли я на охотника? – спросил приор веселым тоном. – А Леоне, похож ли он на тех ветреников, которые скачут по двенадцати часов сряду по горам и лесам, чтобы видеть, как бедного зверя терзают собаки? На этот раз, без сомнения, охота будет иметь более благородную и более полезную цель, потому что дело идет о том, чтобы освободить страну от свирепого животного, опустошающего ее; но нам с Леоне вовсе нехоти отличаться в подобном деле; племянник мой за всю жизнь свою не дотрагивался до оружия. А я... Впрочем, дочь моя, это не секрет, я еду в Меркоар помогать мадмуазель де Баржак, питомице нашего монастыря, в хлопотах, которые наделает ей завтрашнее многочисленное собрание. В замок наедут охотники, из которых, может быть, некоторые будут слишком смелы в своих речах или непочтительны в своем обращении. Мое присутствие, конечно, будет останавливать этих шумных гостей, и для этого-то я предпринял это тягостное путешествие.

Может быть, у бенедиктинца били другие причины, кроме тех, какие он заблагорассудил объяснить, но он говорил с непринужденностью и естественностью, которые не оставляли никакого сомнения. Мадам Ришар лукаво улыбнулась.

– Если справедливо то, что рассказывают, преподобный отец, – отвечала она, – ваше дело будет не трудно, потому что мадмуазель де Баржак сама умеет заставить уважать себя. Я не намерена дурно говорить о благородной девице, находящейся под опекой Фронтенакского аббатства, но говорят, будто эта молодая девица характера довольно независимого и вовсе не имеет робости бедных женщин... Право, я не осмелюсь даже повторить при вас половину того, что говорят о ней.

Бенедиктинец перестал есть и холодно взглянул на трактирщицу.

– Объяснитесь, мадам Ришар, – сказал он повелительно, – я вам приказываю... я непременно хочу знать все, что говорят о мадмуазель де Баржак.

– Ах, боже мой! – отвечала трактирщица, оробев и наливая вина своим гостям. – Это, наверно, клеветы; люди так злы! Притом на честь и репутацию вашей питомицы не нападают; она девица гордая, всем это известно, влюбленным и ухаживающим за ней не очень удастся... Но говорят о ее живом обращении, о ее резкости, о ее капризах, которые доходят иногда до сумасбродства; уверяют, будто она одевается в мужское платье и рыскает повсюду верхом, что у нее рука проворная для наказания тех, кто ее оскорбляет, и что даже в минуты нетерпения она просто ругается... да наш торговец сеном, который, сказать по правде, гугенот, уверяет, что слышал, как она ругалась.

Быстрая краска покрыла щеки Леоне.

– Добрая женщина, – сказал он со сдержанным гневом, – избавьте нас от этих недостойных клевет и умейте лучше уважать знатную девицу...

Он вдруг остановился, приметив, что дядя наблюдает за ним украдкой, и потупил глаза.

– Повторяю вам, – смиренно возразила мадам Ришар, – что я пересказываю толки, которые ходят по всей стране, а я совсем им не верю. Мадмуазель де Баржак, тем не менее, слывет добрейшей особой, щедрой, благотворительной к несчастным и делающей самое лучшее употребление из своего богатства. О ней рассказывают черты поистине превосходные; обвиняют только ее характер, странный и запальчивый.

Приор не показал ни удивления, ни гнева, узнав не совсем благоприятное мнение публики о богатой девушке, находившейся под опекой аббатства. Спокойно опорожнив свой стакан, он сказал:

– Довольно, дочь моя; остерегайтесь повторять эти нелепые толки, потому что это значило бы грешить против христианской любви и справедливости. Всем известно, что мадмуазель де Баржак была ужасно пренебрегаема в своем детстве. Воспитанная отцом, безрассудным охотником, видевшая только мужчин в старом замке, затерянном среди гор и лесов, она выросла так, что никто не заботился образовать ее сердце и ум, никто не подумал даже внушить ей самые простые понятия об обязанностях ее пола. Только в час смерти отец ее раскаялся в том полном небрежении, в каком оставлял ее, и поручил нам надзирать за этой бедной девушкой, направить ее на путь света и на путь небесный. Эта обязанность была не легкая. Кристина де Баржак, несмотря на ее превосходное сердце, привыкла к непослушанию, что много доставляет нам хлопот. Однако, благодаря настойчивости наших усилий, благодаря преданности благочестивых и умных особ, которыми ее окружили, мы, наконец, восторжествовав над ее непокорным характером, над ее нетерпением, не подчиняющимся никаким правилам и никакому обузданию... Вот почему, дочь моя, надо быть снисходительным к ней; скоро, без сомнения, она сделается кроткой и скромной женщиной, какие встречаются на свете, и было бы несправедливо обвинять ее в проступке ее родителей.

Мадам Ришар обещала сообразоваться с этими наставлениями. Пока она старалась извиняться в излишней смелости своих слов, несколько путешественников верхом остановились перед воротами гостиницы. В ту же минуту прибежала запыхавшаяся служанка и шепнула несколько слов хозяйке, которая побледнела.

– Святая Дева! – с испугом прошептала хорошенькая трактирщица, – что он скажет? А я и забыла о нем!

Она тотчас вышла со служанкой, без сомнения, принять новых посетителей.

Скоро звук шпор раздался в первой комнате, потом послышался звучный поцелуй и мужской голос, говоривший по-французски:

– Да, это я, моя красоточка... Черт побери! Мои слуги, проехавшие здесь сегодня утром, верно, уведомили вас о моем приезде. Все ли у вас готово?

– Извините меня, барон, я вас не ждала уже, – отвечала трактирщица в смертельном смущении, – я все приготовила для вашего приема, но...

– Хорошо, хорошо! Вы знаете, моя красавица, что для меня довольно малейшей бездельницы, приготовленной вашими белыми ручками... Прикажите дать что-нибудь закусить моим охотникам, а в маленькую гостиную пусть мне подадут мою яичницу с форелью и бутылку вина. Вы посидите со мной, моя красоточка, потому что ваше свеженькое личико возбуждает аппетит и веселость.

В это время тот, кто говорил, хотел войти в гостиную, но его удержали.

– Барон, – продолжала трактирщица почти с рыданием, – я вам сказала, что я вас уже не ждала. Другие путешественники...

– А! а! У вас здесь есть другие путешественники? Очень хорошо; я могу условиться с ними, если только это дворяне и добрые малые.

Вдруг, отворив дверь, незнакомец вошел в комнату, где находились приор Бонавантюр и Леоне.

Бесцеремонный господин был красив и крепкого сложения, надменной наружности, с закрученными усами, со смелыми хватками, лет тридцати. На нем был богатый мундир начальника над волчьей ловлей, из голубого бархата с серебряными галунами, белые панталоны, высокие сапоги, парик и треугольная шляпа. Охотничий нож, эфес которого был из чеканного серебра, дополнял этот костюм, выказывавший гордый стан и замечательные формы новоприезжего. Он держал в руке хлыст и махал им с уверенностью, как будто был готов употребить его против всех.

Барон Ларош-Буассо – так звали этого господина – считался, как мы сказали, между восемью баронами, имевшими право заседать в Лангедокских или Жеводанских штатах. Фамилия

его была младшей отраслью старинного дома Варина, угасшего уже давно, но когда-то одного из самых знаменитых в провинции. Графы Варина в царствование последних Валуа приняли реформатскую религию и находились до отмены Нантского эдикта начальниками протестантизма в этой части Севеннских гор. Во время восстания реформатов, прозванных камизарами, в начале восемнадцатого столетия, прадед настоящего барона Варина долго побеждал маршалов Бервика и Виллара. Однако, побежденный в этой неравной борьбе, оставленный своими, гугенотский партизан принужден был скрываться. Предание говорило, что он жил несколько лет в гроте, где умер мучеником своей веры. Туземцы показывают еще и ныне этот грот, замечательный своей обширностью и великолепными сталактитами; он называется «Грот Варина», именем своего прежнего обитателя.

Но его потомки не простирали так далеко привязанности к своим религиозным убеждениям. Испугавшись строгих мер, принятых вследствие мятежа, они для вида отказались от своей веры, чтобы сохранить имущество и аристократические привилегии. Только уверяли, что это отречение не было искренно у многих между ними и что они остались протестантами в глубине сердца. Отец настоящего барона никогда не отличался усердием к католицизму, а сам барон слыл скептиком и насмешником. Он выказывал большое пристрастие к новым идеям и хвастался безверием, по тогдашней моде. Притом он вел жизнь сумасбродную, расточительную, роскошную, к великому ущербу его отцовского наследства, уже очень расстроенного, и подражал во всем той необдуманной знати, проступки которой приготавливали великую революцию.

Приор Бонавантюр давно знал барона Ларош-Буассо, охотничье искусство которого заставило короля сделать его начальником волчьей охоты в Жеводанской провинции. Они несколько раз встречались в собрании штатов, где приор отличался своим благоразумием и умеренностью, а барон – своим легкомыслием и задорливостью; из этого происходила неприязнь, еще увеличиваемая обстоятельствами, о которых мы узнаем скоро. Однако или приор забыл в эту минуту прошлые несогласия, или хотел только сохранить наружный вид, он встал, приметив барона, и вежливо ему поклонился. Леоне, из уважения к своему дяде, также поклонился, хотя с заметным отвращением.

Барон де Ларош-Буассо не обратил внимания на эти знаки уважения. Он стоял на пороге двери, нахмутив брови, со шляпой на голове. Без сомнения, он также узнал фронтенакского приора, но не рассудил за благо показать этого, и обернувшись к мадам Ришар, которая стояла позади него вне себя и дрожа, сказал ей грубо:

– Э! Черт побери! Красавица, я начинаю понимать ваше жеманство. Вы отдали мой завтрак этим бенедиктинцам!

Вдова рассыпалась в извинениях и сетованиях; слава богу, не в провизии у нее был недостаток! Можно еще было предложить барону стол достойный его. Только яичница с форелью, приготовленная для барона...

– Пришлась по вкусу этим добрым бенедиктинцам, – закончил Ларош-Буассо, – и вы отдали им предпочтение. Чудесно, моя прелестная хозяйка! Но если бы они были дворяне, а не обитатели монастыря, я мог бы помешать их пищеварению весьма неприятным для них образом, уверяю вас!

Эта угроза вызвала яркую краску на лице Леоне, но взгляда дяди было достаточно, чтобы заставить его тотчас опустить глаза. Приор Бонавантюр, до сих пор сидевший спокойно и с улыбкой, наконец, заговорил:

– Полноте, барон, – сказал он с несколько иронической вежливостью, – будьте снисходительны к этой женщине. Вам уже сказали, что яичница с форелью не одна составляла провизию в этом доме, и, если верить некоторым слухам, вам ничто не мешает сделать честь окорокам и холодной дичи, которых вам можно подать здесь в день поста.

Этот намек на тайное верование его фамилии, по-видимому, должен был бы довести до последней крайности раздражение барона, однако он с усилием сдержал свой гнев и, громко расхохотавшись, сказал хозяйке:

– Бедная Ришар, как вы сконфузились!.. Ну, чтобы об этом не было более речи. Я охотник и, следовательно, неразборчив в своих вкусах... Принесите мне что хотите, моя красавица, только бы мне недолго ждать, потому что я тороплюсь.

Трактирщица, обрадовавшись этому перевороту, убежала, объявив, что барону сейчас подадут завтрак. Он же, бросив на стул шляпу и хлыст, занял ту сторону стола, которая оставалась пустой, между тем как приор Бонавантюр и Леоне принялись заканчивать свой завтрак.

Глава третья

Наступила минута неловкого молчания. Очевидно, барон де Ларош-Буассо испытывал теперь сильное желание разговориться с приором и его племянником, но гордость мешала ему первому начать разговор. Со своей стороны, приор, угадывая это намерение, осторожно держался в оборонительном положении. Барон, скрестив ноги, начал барабанить по столу; наконец он спросил резким тоном:

– Надеюсь, преподобный отец, что вы не сердитесь на меня за мою запальчивость. Ничто так не располагает к досаде, как пустой желудок. Виновата во всем наша ветреная хозяйка, которая без всякого стыда отдала вам завтрак, приготовленный для меня.

Приор, внимательно очищая прекрасную грушу, отвечал, что он не знал этого обстоятельства, но что, во всяком случае, он настолько добрый христианин, чтобы извинить движение гнева.

– Я очень этому рад, преподобный отец, хотя между нами существуют некоторые другие причины к взаимному неудовольствию, и я был бы рад, если эта встреча доставит нам случай покончить со старой враждой... Какое ваше мнение на этот счет, господин приор?

Бонавантюр отвечал с прежней флегмой и прежним смирением, что он всегда готов сделать то, что согласуется с его обязанностью, для того чтобы заслужить благорасположение барона. Тот казался не очень доволен этими неопределенными и осторожными словами. Он отложил объяснение, которое собирался было начать, и рассеяно спросил:

– Конечно, вы едете в Меркоар к мадмуазель де Баржак?

– Туда, барон; а вы?

– Вы это знаете, вся страна это знает. Я, как храбрый паладин, еду истреблять чудовище, опустошающее земли прелестной владительницы замка.

– А как вы думаете, барон, – спросил приор с заметным интересом, – сможете вы справиться с этим свирепым зверем?

– Я в этом уверен, – отвечал Ларош-Буассо с самоуверенностью охотника, – этот волк, по последним известиям, укрылся в Меркоарском лесу. Завтра он будет окружен, выгнан и убит непременно до вечера, можете положиться на это.

– Очень хорошо, но это будет завтра, а сегодня могут ли мирные путешественники, по вашему мнению, проехать лес безопасно?

На этот раз в словах приора проглядывал такой страх, что барон, может быть, не мог устоять от лукавого желания помучить его.

– Гм! – сказал он холодно. – Этот зверь колоссальной величины и неимоверно смелый... его надо остерегаться!

Приор тяжело вздохнул и взглянул на своего племянника, который остался спокоен. В эту минуту мадам Ришар вошла со своими служанками, которые несли завтрак барону; разговаривать сделалось невозможно. Но скоро Ларош-Буассо, как бы желая с нетерпением продолжить разговор, отпустил хозяйку и служанок, сухо уверив, что ему не нужно ничего. Приор, пугаясь все более, по мере того как приближался час отъезда, продолжал ласковым тоном:

– Так как мы также едем в Меркоар, барон, не можете ли вы оказать нам честь ехать вместе с вами? Ваша храбрость известна, притом ваши люди составляют ваш конвой. Позвольте же нам ехать вместе с вами, и, конечно, мадмуазель де Баржак, состоящая у нас под опекой, будет вам признательна за ваше одолжение.

Эта прямая просьба, казалось, стоила несколько усилий доброму приору; но барон не очень спешил принять предложение. Он сослался на необходимость путешествовать очень скоро, потому что в этот же вечер он должен заняться разными распоряжениями для завтрашней охоты.

– Лошаки наши недурны, – возразил приор, тайные опасения которого раздражило препятствие, – и ваши лошади не могут идти скорее по ужасным дорогам в горах. Право, барон, великодушно ли с вашей стороны отказывать нам в одолжении, которое так мало будет вам стоить?

Ларош-Буассо улыбнулся со странным видом, потом выпил разом несколько стаканов вина и, подкрепившись без сомнения благородным напитком, сказал более открытым тоном;

– Может быть, я буду готов служить вам, господин приор, но, по крайней мере, надо мне знать сперва, друзья вы мне или враги.

– Ваши враги, барон? У вас нет врагов между фронтенакскими братьями.

– Но есть ли там у меня друзья – это другой вопрос, не правда ли, достойный приор?.. Будем откровенны, и если случай или, пожалуй, по – вашему Провидение, свело нас здесь, сумеем воспользоваться оба этим благоприятным обстоятельством. Я думаю, – продолжал Ларош-Буассо, обернувшись к Леоне, – что я могу свободно говорить перед этим молодым человеком.

– Это мой племянник, – поспешно отвечал бенедиктинец, – это мой секретарь, мой поверенный, мой alter ego.

– Прекрасно. Впрочем, я не имею привычки делать таинственными мои намерения... Послушайте и будьте откровенны со мной. Вы не забыли, преподобный отец, мои законные неудовольствия вашим аббатством, особенно вами, как главой монастыря, пользующегося полной властью?

– Мною, барон?

– Не прерывайте меня, пожалуйста... Эти неприятности уже давнишние и перешли ко мне от моей фамилии. Я знаю, что на меня смотрят как на ветреника, думающего только о том, как вести веселую жизнь. Воображают, будто я неспособен размышлять; полагают, что я равнодушен к интересам и достоинству моего имени. Скоро, может быть, приметят, что это вовсе не справедливо; как бы ни велики были препятствия, я сумею их разрушить, если будут иметь неблагоприятие вывести меня из терпения!

Говоря, таким образом, он нахмурил брови и грозно сжал кулаки; но Бонавантюр оставался бесстрастен. Барон продолжал более спокойным тоном:

– Если вы хотите, преподобный отец, мы начнем с событий, случившихся уже восемнадцать лет тому назад. Отец мой был жив тогда, так же как и дядя мой, граф де Варина, владелец великолепного поместья, имя которого он носил. Я должен признаться, что между моим отцом, бароном де Ларош-Буассо, и старшим братом его, графом де Варина, никогда не существовало большого сочувствия. Отец мой был, как я, веселый дворянин, не очень сберегавший свое состояние, любивший удовольствия и хороший стол. Варина, напротив, имел мрачный характер, болезненный темперамент; особенно в последнее время своей жизни он сделался скрягой и ханжой. После смерти своей жены, вместо того чтобы жить в своем поместье, он проводил все время в Фронтенакском аббатстве, где, как говорят, вы, мой преподобный отец, тогда еще простой монах, имели большое влияние на его ослабевший ум. Однако отношения братьев никогда не были неприязненными; при всяком случае они выказывали друг другу уважение, которое близкие родственники в благородном семействе обязаны иметь один к другому. В это время ни отец мой, ни я не могли предполагать, чтобы нам когда-нибудь могло достаться наследство графа. У него был четырехлетний сын, которого звали кавалер де Варина, и который должен был после него наследовать его имя и поместье. Но этот ребенок умер, и менее чем через полгода после того сам граф скончался в Фронтенакском аббатстве. Узнав об этом печальном событии, отец мой, несмотря на холодность, существовавшую между ним и его братом, сильно почувствовал этот удар и поспешил в аббатство отдать графу последний долг. Потом он хотел предъявить свои права на фамильное имение, достававшееся ему как ближайшему родственнику и законному наследнику покойного графа. Но каково было его негодова-

ние, когда ему показали завещание, по которому дядя отдавал Фронтенакскому аббатству свои земли и свои замки! Это была возмутительная несправедливость; очевидно, в этом поступке были обман и хитрость. Воспользовались слабостью ума графа при его последних минутах, чтобы ограбить его родных, употребили лукавство и насилие, может быть, чтобы вырвать у него этот безумный поступок. Отец мой, бывший характера горячего и вспыльчивого, рассердился, очень грубо обошелся с вашим аббатом и капитулом, потом уехал из Фронтенака, клянясь, что обратится к правосудию. Действительно, он затеял процесс перед бордоским парламентом, чтобы добиться уничтожения этого нелепого завещания, но тут-то выказалось высокое влияние, которым пользовались ваши бенедиктинцы в вашей провинции. Дело аббата фронтенакского сделалось делом всего духовенства; знатные духовные особы, даже епископы, заступились за него. Против нас подняли старинное обвинение в протестантстве, которое появляется каждый раз, как мы хотим предъявить наши права. Вы в особенности, преподобный отец, если я хорошо помню, потому что тогда я был очень молод, были самым деятельным, самым умным агентом в процессе вашего аббата; благодаря вашим усилиям, просьбе моего отца было отказано, он был осужден на уплату значительных издержек, а монастырь оставили во владении нашим фамильным именем. Скажите, преподобный отец, происшествия, кратко пересказанные мной, не строго ли справедливы?

Глухая ненависть, злобные намеки, заключавшиеся в этом рассказе, ни в чем не изменили ясности приора; он слушал спокойно, скрестив руки на груди и с улыбкой на губах.

– Факты, если не оценка их, совершенно верны, барон, – отвечал он, – не буду отрицать даже, что я лично участвовал в проигрыше процесса барона де Ларош-Буассо, вашего отца, и если поступил дурно, я отдам в этом отчет Богу и моей совести. Только вы забыли упомянуть о небольшом обстоятельстве, которое может совершенно изменить сущность вопроса. Дарственная запись, сделанная нашему преподобнейшему аббату покойным вашим дядей благочестивой памяти, неокончательна; она считается только временным залогом. Приписка к духовному завещанию графа де Варина сохраняется в архиве нашего монастыря, и по неперменной воле завещателя приписка эта будет раскрыта после назначенного срока, который наступает через несколько месяцев. Итак, через несколько месяцев сделается известна настоящая воля вашего родственника; до тех пор вы не должны обвинять его память. С другой стороны, мы никогда не считали принадлежащим нам имение Варина: мы только управляли им благоразумно и возвратим его кому следует в тот день, когда окончательное завещание предпишет нам наш долг.

– Эта приписка – только недостойная хитрость! – запальчиво вскричал барон. – Я знаю, что она не изменит смысла первого завещания. Я угадал, отец приор, ловкие проделки, по которым ваша община хочет присвоить себе спокойное пользование поместьем Варина. Боясь, без сомнения, чтобы прямая и дарственная запись на это богатое поместье не возбудила общего негодования, вы постарались придать общую форму, чтобы избежать гнусности подобного завещания, сделанного в ущерб законным наследникам. Вы думали, что приличнее выиграть время, чтобы мало-помалу приучить общее мнение к этому оскорбительному грабежу. Пока эта приписка не доставит вам вполне владение имением моего дяди, вы притворно говорите, что только храните его как залог, и почти уже шестнадцать лет никто не мешал вашему насильственному завладению. Вы надеетесь, что после этой продолжительной отсрочки все забудут ваше виновное завладение, и вы будете в состоянии без шума, спокойно, окончательно прибавить наше наследство к обширным владениям вашего аббатства. Но, может быть, этого не будет, господин приор; не скрываю, что я возвращусь к этому прежнему делу, как только представится случай. Отец мой умер, разоренный вашими интригами и ябедами, но я еще существую и сумею потребовать прав моей фамилии. Настанет минута, когда приписка к завещанию будет распечатана, и, если она удовлетворит вашим хитростям, вы можете быть уверены, что я не останусь праздным. Времена переменялись за шестнадцать лет; век идет вперед, католическое духовенство не имеет уже прежнего неограниченного владычества. Поговаривают, что

из Франции прогонят самую богатую, самую могущественную из религиозных корпораций – иезуитскую. По милости философии и успехов просвещения ветер начинает обращаться против вас. Берегитесь же; на этот раз вашего кредита, может быть, не будет достаточно, чтобы дать восторгествовать беззаконию.

Ларош-Буассо выражался с чрезвычайной пылкостью; сам Леоне казался даже поражен законностью его жалоб. Молодой человек, облокотясь о стол, смотрел на дядю с видом болезненного удивления, как будто его честная душа не могла поверить недостойным поступкам, в которых обвиняли фронтенакскую общину, и ожидал оправдания, но приор Бонавантюр продолжал оставаться бесстрастным; он улыбался, поправляя белой и полной рукою складки своей бенедиктинской рясы.

– Вам недолго придется ждать случая, который вы ищете, барон. Я уже вам говорил, что время, назначенное для оформления приписки к духовному завещанию вашего дяди, скоро настанет. Вы будете действовать тогда по внушениям ваших интересов и вашей вражды, а аббатство Фронтенакское заставит уважать, без боязни и без слабости, волю графа Варина, какова бы она ни была.

Уверенность приора была искренна и естественна; барон, без сомнения, несколько оробел, потому что продолжал гораздо тише:

– Не будем заходить слишком далеко, преподобный отец; я надеюсь еще, что не дойду до этих крайностей. Моя единственная цель, когда я пробудил воспоминание об этом старом споре, состояла в том, чтобы показать несправедливости, от которых я пострадал, и права, которые я могу иметь на вознаграждение со стороны вашей общины. Если это вознаграждение будет мне дано, я торжественно обязуюсь не мешать более аббатству владеть поместьем Варина.

– Вознаграждение, барон? Я вас не понимаю.

– Я думаю, напротив, что вы понимаете меня очень хорошо, преподобный отец; но слушайте. Вследствие процесса, который мы поддерживали против вашего аббатства, мое состояние – это всем известно – значительно расстроено. Земли мои заложены, доходы уступлены отчасти, и без пособий, может быть корыстных, Легри, моего поверенного, мне было бы очень трудно достойно носить мое имя. А я вижу только два способа избавиться от этого тягостного положения: или я воспользуюсь обстоятельствами, чтобы потребовать, во что бы то ни стало, поместье Варина, которое у меня отняли, или поправлю мое состояние выгодным супружеством. Этому-то последнему намерению буду я вас просить, преподобный отец, способствовать... Понимаете ли вы меня, наконец?

– Нет еще, барон.

– Обыкновенно вы выражаете более проницательности, – возразил Ларош-Буассо сухо, – но я объяснюсь очень ясно. Ваше аббатство, так охотно принимающее богатые наследства, показывает также особенное пристрастие к богатым наследникам. У вас теперь под опекой одна богатая девица, о которой вы заботитесь с ревнивым попечением. Вы окружили ее шпионами, вы подсматриваете за самыми невинными ее поступками, вы пугаетесь всех приближающихся к ней. Я не могу разобрать цели интриг, которыми окружают Кристину де Баржак, но не думаю, однако, что из нее не замышляют сделать монахиню, чтобы наградить ее богатым поместьем какой-нибудь женский монастырь.

Бенедиктинец несколько уже минут, казалось, переносил не так терпеливо довольно оскорбительные выражения барона; легкий румянец покрыл его щеки.

– Господин барон, – отвечал он слегка дрожащим голосом, – несмотря на мое желание оставаться в границах умеренности, я не могу сносить долее ваших оскорбительных предположений против святой обители, которой я служу. Итак, если этот разговор должен продолжиться, прошу вас говорить с меньшей колкостью и с большей справедливостью. Фронтенакский аббат и капитул никогда не имели в мыслях обречь мадмуазель де Баржак монастырской

жизни, и они будут упорствовать в этом намерении, если только их питомица сама не выкажет положительного, настойчивого признания, что невероятно. Вы знаете – в самом деле, ведь вы знакомы с ней, – как нам трудно надзирать за этой самовольной, неукротимой молодой девушкой, непослушной никаким советам. Мендские урсулилки пробовали показывать ей первые правила учения, но успехи ее были посредственными, и она вышла из этого монастыря через два года, почти сведя с ума бедных сестер своим непослушанием и непомерной живостью. После ее возвращения в замок Меркоар мы поместили возле нее доброго и честного дворянина и старую монахиню, терпение, преданность и высокая добродетель которой известны нам давно. И тот и другая писали нам уже более двадцати раз, упрашивая снять с них данное им поручение. Вы видите, барон, что девушке такого характера мы не можем предписывать нашу волю. Если мадмуазель де Баржак намерена остаться в свете и выйти замуж, мы и не подумаем противоречить ее выбору... если только он не будет недостоин ее и благородного дома, из которого она произошла.

– Правда ли это? – вскричал Ларош-Буассо с живостью. – Неужели вы не будете сопротивляться, если жених не будет иметь несчастья не понравиться вам и другим сановникам вашего аббатства? Положим, что я возымел бы мысль усмирить эту маленькую львицу, что я успел бы произвести на нее благоприятное впечатление, решился бы на ней жениться, несмотря на ее свирепый нрав, отвечайте мне откровенно: в таком случае не старались бы вы помешать всеми средствами подобному браку?

Этот прямой вопрос, казалось, очень смутил приора; сам Леоне с беспокойством ожидал его ответа.

– Как, барон, – спросил Бонавантюр, – неужели вы привлекли к себе особенное внимание мадмуазель де Баржак? Благородная девица была до сих пор непреклонна ко всем, кто осмелился ухаживать за ней...

– Она, без сомнения, была бы такой же и для меня, если б я сделал ошибку и осыпал ее теми сентиментальными фразами, которых она терпеть не может. Нет, я никогда не говорил ей ни одного слова о любви; но в тех случаях, когда моя охота приводила меня в Меркоар, мадмуазель де Баржак находила более удовольствия в моем обществе, нежели с другими дворянами округа. Это, без сомнения, не много, но со стороны молодой девушки столь не похожей на обыкновенный тип, это может подать некоторую надежду. Поэтому, если б я не был уверен, что моим планам будут идти наперекор, я не потерял бы мужества. Умоляю вас сказать мне, что я должен думать; еще раз, друзья вы мне или враги?

– Я опять буду отвечать вам, что фронтенакские бенедиктинцы не враги никому. Не предписывается ли нам любовь к ближнему, даже к тем, кто мог бы оскорбить нас?

– Вы не увернетесь от меня таким образом, господин приор... Будете ли вы, например, отпираться, что ваше путешествие не имеет главной целью уничтожить мои успехи заслужить привязанность мадмуазель де Баржак? Не узнали ли вы о предпочтении, которое оказывает мне ваша питомица, и, узнав о моем скором прибытии в замок Меркоар, не отправились ли вы немедленно в дорогу, как советник и настоящий глава вашей общины, для того, чтобы расстроить вашим присутствием все мои попытки? Несмотря на вашу хитрость, несколько мирскую, преподобный отец, я доверяю вашей искренности; отвечайте мне просто: нет, и я поверю вам, не колеблясь.

Побуждаемый таким образом, Бонавантюр не мог уже уклониться от ответа.

– Не отпираюсь, – отвечал он, – что мое присутствие в Меркоаре показалось необходимым для того, чтобы остановить притязания женихов, которых богатство и красота мадмуазель де Баржак притягивают к ней беспрестанно. Мы исполняем отеческий долг к этой молодой девушке; можем ли мы оставить ее без покровительства и советов среди шумного общества, которое соберется в ее собственном доме?

– Очень хорошо, – сказал барон сухим тоном вставая, – вот, наконец, вы высказались, преподобный отец. Итак, вы неблагоприятно смотрите на мои угождения вашей питомице и всеми силами будете сопротивляться моим намерениям?

– Я имел уже честь уверить вас, барон де Ларош-Буассо, что мадмуазель де Баржак останется совершенно свободной в своем выборе. Но фронтенакские бенедиктинцы, без всякого сомнения, воспользуются правом, принадлежащим им, подавать советы и делать увещевания.

– Все лучше и лучше! – перебил барон с иронией, прохаживаясь большими шагами и брэнча своими серебряными шпорами. – К несчастью для вас, преподобный отец, уверяют, что ваши увещевания не очень слушает эта непослушная девушка. Не скажете ли вы мне, по крайней мере, причину предубеждения вашего против меня?

– Э, барон! – вскричал Бонавантюр, выведенный из терпения этой настойчивостью. – Нужно ли отыскивать другие причины, кроме вашей беспорядочной жизни, вашего расстроенного состояния и в особенности вашей тайной привязанности к протестантской ереси?

– Мое разорение – дело ваших рук, – с энергией возразил Ларош-Буассо, – жизнь моя такова, как жизнь всех дворян, чувствующих свое благородство. Что же касается до того старого обвинения в протестантстве, которое беспрестанно бросают мне в лицо, как когда-то бросали в лицо предкам моим и набожного католика графа де Варина, я мог бы спросить, на чем оно основано; но положим, что оно и справедливо; не лучше ли, преподобный отец, оставаться протестантом в глубине сердца, чем не иметь никакой религии, как множество других?

– И не с вами ли это точно так же, барон? – строго сказал бенедиктинец. – Уверяют, что та и другая церковь... Но перестанем говорить об этом, – остановил он сам себя с усилием, – я не должен изведывать совесть без особенного на то приглашения. Бог будет судить всех нас!

Опять замолчали; барон продолжал прохаживаться по комнате; наконец он снова остановился перед приором.

– Итак, вы не принимаете способа, которым я предлагал вам загладить вопиющую несправедливость? – спросил он со сдержанным гневом. – Я желал загладить прошлое и заключить с вами мир, залогом которого была бы мадмуазель де Баржак; вы предпочитаете войну; итак, я буду вести ее с вами – горячую, ожесточенную, клянусь вам... Для начала объявляю вам: я женюсь на вашей питомице назло вам!

Приор отвечал улыбкой на этот вызов. Но Леоне, до сих пор безмолвный, если не равнодушный свидетель этого объяснения, вскричал, вставая, как будто повиновался непреодолимому чувству:

– Как! Барон, вы уверены, что мадмуазель де Баржак вас любит?

Ларош-Буассо вдруг обернулся. Сам приор казался изумлен, но не раздражен смелостью своего племянника.

– Что с вами сделалось, дружок? – спросил барон, насмешливо окидывая глазами юношу с ног до головы. – Разве этими делами занимаются в обителях? Эти вещи вы и знать не должны; лучше прочитайте ваш служебник, и, без сомнения, господин приор наложит на вас наказание за то, что вы без позволения вмешались в мирской разговор.

– Милостивый государь, – возразил Леоне, – я не принадлежу к духовному званию; я такой же мирянин, как и вы, и не допущу...

Он замолчал, как бы испугавшись своей смелости.

– Чего вы не допустите, мой милый юноша? – спросил Ларош-Буассо с оскорбительной иронией. – Чтобы мадмуазель де Баржак выказала предпочтение ко мне? Я не вижу, в чем это обстоятельство может вас касаться, и каким образом вы можете его не допустить.

– Это не то, – пролепетал Леоне, в котором гнев боролся с замешательством, – я хочу сказать, что оскорбительные выражения, в которых вы относились о моем почтенном дяде и об уважаемых фронтенакских бенедиктинцах...

– А! а! Мое прелестное дитя, вы намерены сделаться защитником этих бенедиктинцев и потребовать от меня удовлетворения за мое суждение о них? Это прекрасно, потому что я не расположен отказываться от моих слов и раскаиваться... Я скажу даже всем и каждому, что фронтенакские бенедиктинцы, без всякого исключения, лицемеры, интриганы, жадные, что они отняли у меня мое наследство и что надеются, без сомнения, употребить свою невинную питомицу как орудие для приобретения новых богатств, нового влияния. Но я буду бодрствовать, я сумею расстроить их тайные проделки. Я люблю мадмуазель де Баржак и, может быть, любим ею; мы увидим, кто осмелится пойти наперекор моим намерениям!..

– Вы любите ее? – вскричал Леоне со сверкающими глазами – Вы ее любите, когда сердце у вас обветшало, а душа поблекла...

– Я вижу, мой добрый молодой человек, что вам внушили ужас к таким мирянам, как я; к счастью, от правил до примера далеко!.. Да говори, кто что хочет – я люблю эту гордую и мужественную девушку. Это женщина необыкновенная, я нахожу в ней особенную привлекательность... Но, черт побери! – перебил он презрительно. – Вам какое дело до этого? Да и сам я не знаю, зачем отвечаю на нескромные вопросы ребенка с горячей головой!

– Милостивый государь! – закричал Леоне угрожающим тоном. – Я не могу сносить долее ваших дерзостей и...

– Ну, что же вы сделаете, мой храбрый рыцарь? – отвечал Ларош-Буассо, громко расхохотавшись. – Вызовете меня на дуэль? Вот было бы мило! К вашим услугам! Ну, обнажайте шпагу... я готов принять вас...

Он стал в позицию и делал вид, будто парирует своим хлыстом мнимые удары.

– Как! Вы не подходите? – продолжал он, все смеясь. – Но, прости Господи, вы, кажется, забыли вашу рапиру, пылкий рыцарь ризницы!.. Куда же девалась ваша рапира?

– Я могу, по крайней мере, сражаться с вами тем оружием, которое вы выбрали сами! – вскричал Леоне вне себя.

Он схватил свой хлыст, лежавший на стуле, и побежал с поднятой рукой к барону.

Во время этого жаркого спора приор сохранял совершенно необъяснимое спокойствие, точно хотел изучить, до чего дойдет законное негодование Леоне, измерить степень мужества и энергии этого молодого человека, которого он видел с детства столь кротким и тихим. Может быть, это исследование давало не совсем неблагоприятный результат, потому что Бонавантюр улыбался при каждом возражении своего юного сподвижника; однако, когда он увидел, что оба противника готовы начать драку, он бросился между ними с живостью, вовсе ему несвойственной, закричав:

– Полно, Леоне! Разве вы забыли уже наши уроки или вы принимаете нравы и свирепые страсти модных дуэлянтов? Разве рассудок и религия позволяют подобные распри? А вы, барон, – обратился он к Ларош-Буассо, стоявшему в оборонительном положении, – неужели вы, не краснея позволяете себе вызывать на дуэль безвредного юношу?

С первых слов дяди Леоне, стыдясь своей запальчивости, выронил хлыст и воротился на свое место. С унынием закрыл он лицо обеими руками и ничего не отвечал. Барон, со своей стороны, изменился в лице и продолжал небрежным тоном:

– Кой черт! Вы правы на этот раз, господин приор, я должен был бы принять с презрением оскорбление вашего племянника! Однако, – прибавил он с презрительным превосходством, – молодой человек пылок; может быть, им нелегко будет управлять, когда у него покажется борода... но оставим это; время проходит, я должен отправиться в путь... Так как вы отвергли мое предложение примириться, каждый из нас будет действовать по-своему, и победа останется за более сильным или более хитрым.

Он растворил дверь кухни и закричал:

– На лошадей, мои люди... все на лошадей!

В первой комнате началась большая суматоха, как будто спешили повиноваться приказам господина.

– Итак, барон, – спросил приор со смирением, вовсе не похожим на выказанную им твердость, – вы не позволите нам воспользоваться вашим конвоем, чтобы благополучно доехать до Меркоара? Несмотря на несогласия, существующие между нами, я не сомневаюсь, что вы впоследствии очень бы огорчились, если бы какое-нибудь несчастье...

– Вы меня предполагаете слишком великодушным или слишком сострадательным, – возразил Ларош-Буассо насмешливым тоном. – Ей-богу! Если зверь вас растерзает, как вы думаете, дурную услугу окажет он мне? Из всего Фронтенакского аббатства вы один способны расстроить мои планы. Я должен всего бояться из-за вашей проницательности, вашей бдительности, вашей неутомимой деятельности. Поэтому не стану же я сам пренебрегать благоприятной возможностью, представляющейся мне. Мы ведем войну, господин приор, и все способы хороши, чтобы получить победу... Притом, – прибавил он, взглянув на Леоне, погруженного в свои мысли, – разве у вас нет неустрашимого защитника, очень способного справиться со знаменитым жеводанским зверем? Он защитит вас, и его пылкое мужество может еще лучше устремиться против волка, чем против дворянина... Сегодня вечером мы встретимся в замке Меркоар, куда вы приедете здоровыми и невредимыми... чего я вам желаю. Итак, прощайте!

Он надел шляпу и вышел, насвистывая охотничью арию. Через несколько минут послышался топот удалявшихся лошадей.

Приор Бонавантюр, подстрекаемый опасением запоздать в опасном лесу, который он должен был проезжать, поспешил также спросить своих лошаков; он надеялся следовать за бароном издали и таким образом находиться под его защитой вопреки его воле. Но такое множество путешественников произвело суматоху в доме, и лошаки не были готовы, потом надо было выслушать горячую признательность мадам Ришар за честь, которой приор удостоил её, остановившись у нее, и ее сетования о ссоре ее с Ларош-Буассо, который рассердился на нее и уехал, не подумав расплатиться, о чем, впрочем, прекрасная вдовушка заботилась мало. Много времени было потеряно таким образом, когда Бонавантюр и Леоне выехали, наконец, из Лангони среди поклонов и коленопреклонений жителей городка; они не видели уже ни барона, ни его людей так далеко, как только могло простираться зрение.

Глава четвертая

Прошел уже целый час, как фронтенакский приор и племянник его выехали из Ленгони, и кроме довольно затруднительной дороги, ничто не возмутило их путешествия. Они не видели, правда, несмотря на все свое внимание, всадников, уехавших прежде них, но слышали иногда звуки труб в отдалении, и редкие прохожие, с которыми они встречались, уверяли их, что охотники не более как за четверть лье впереди. Приор беспрестанно понукал своего лошака, надеясь при каждом повороте дороги приметить, наконец, блестящие костюмы барона и его егерей. Леоне машинально подражал ему; но эти подстрекания не производили большого действия на упрямых животных, так что, по всей вероятности, расстояние не уменьшалось, а увеличивалось беспрестанно между двумя путешественниками и всадниками, ехавшими на прытких лошадях.

После многих поворотов путешественники доехали до высокой известковой площадки, обширного неводеланного пространства, окруженного высокими горами. Долина эта была безлюдна, обнажена, лишена зелени, там и сям только несколько каштановых деревьев, полуразбитых грозой, сила которой ужасна в этих местах, разнообразили своими желтеющими листьями однообразие серой почвы. Площадка кончалась лесистым ущельем, через которое проходила дорога; но хотя она имела добрых полмили пространства, и ничто не могло стеснять взора, охотников не было видно.

Впрочем, дорога не представляла никаких затруднений; гладкая открытая почва, даже без кустарника, не могла заставить бояться внезапного нападения хищных зверей. Притом глубокая тишина царствовала в этом огромном цирке; погода была прекрасная, и солнце, бывшее еще высоко над горизонтом, подавало надежду, что лес можно проехать до ночи. Приор, казалось, наконец, терпеливо начал переносить свое положение; он перестал мучить своего лошака, запыхавшегося не от своего повиновения, а от сопротивления подстреканиям своего всадника, и знаком подозвал Леоне к себе.

С тех пор, как выехали из города, молодой человек не произнес ни слова; наклонив голову на грудь, он казался погружен в свои размышления. Однако он поспешил повиноваться и поехал рядом с приором, что позволяла теперь ширина дороги.

– Я думаю, дитя мое, – сказал приор, – что нам не надо стараться догнать этого гордого дворянина... Может быть, нам надо было бы взять в Лангони провожатых, но мы уехали так скоро... Впрочем, мы теперь только в двух лье от замка; остается час езды. Но дорога пойдет гораздо хуже в Манадьере.

И он с озабоченным видом указал на ущелье, оканчивавшее долину.

Леоне отвечал рассеянным знаком. Имея характер кроткий и общительный, он был воспитан в большой недоверчивости к самому себе и в глубочайшем уважении к тем, кто имел над ним власть. Обыкновенно сдержанный и молчаливый, он не заговаривал сам, а ожидал, чтобы его спросили. Однако его молчаливость после сцены в гостинице сделалась так упорна, что приор начал удивляться.

– Что с вами, милый Леоне? – спросил он дружеским тоном, между тем как оба лошака шли рядом. – Не больны ли вы или, может быть, также боитесь этого проклятого зверя, от которого, да сохранит нас Бог!

– Ни то ни другое, дядюшка; я только думал...

– О чем же, дитя мое?

– Ни о чем, мой преподобный отец.

И прекрасный юноша глубоко вздохнул. Бонавантюр наблюдал за ним украдкой.

– Леоне, – сказал он с важностью, – я должен и похвалить вас, и побранить: похвалить за благородный энтузиазм, с которым вы заступились за меня и за ваших покровителей, фронтене-

накских бенедиктинцев; побранить за то, что вы увлеклись запальчивостью до такой степени, что вызвали на дуэль дворянина, вина которого не может извинить вашей.

– Как? – спросил Леоне с дурно сдерживаемым нетерпением. – Неужели надо было холодно перенести дерзкие слова Ларош-Буассо? Неужели надо было молча выслушать его хвостовскую клевету о мадмуазель де Баржак?

– Какое вам дело до мадмуазель де Баржак, мой милый?

Леоне наклонился вперед, как бы для того, чтобы подтянуть подпругу, но на самом деле – чтобы скрыть краску своих щек.

– Дядюшка, – пролепетал он, – я думал... мадмуазель де Баржак находится под опекой аббатства, вашей; мы получим гостеприимство в ее доме, неужели же я должен был позволить говорить о ней с таким оскорбительным легкомыслием? Но признаюсь, – прибавил он, одушевляясь, – каждое слово этого гнусного барона действовало на мой мозг, как пары опьяняющего напитка. Не знаю, какие-то неизвестные инстинкты открывались во мне; я чувствовал непреодолимое желание броситься на него и ударить его в лицо... Если б у меня была шпага, я напал бы на него тотчас, несмотря на ваше присутствие; но у меня не было шпаги, я не дворянин, я только смиренный и мирный воспитанник фронтенакских бенедиктинцев и должен был проглотить обиду...

Леоне, дав волю долго сдерживаемому волнению, пролил обильные слезы. Приор казался не очень удивлен этим внезапным умилением; он, может быть, знал лучше самого племянника, что происходило в этой наивной душе. Однако он продолжал со смесью кротости и строгости:

– Как, Леоне, вы плачете? Этого ли должен я ожидать от молодого человека, столь благоразумного и твердого в своей вере, от моего возлюбленного воспитанника, от сына моей сестры? Откуда происходят эти безумные страсти, так вдруг обнаружившиеся? Не говорил ли я вам сто раз, Леоне, что разумные существа, созданные по образу и подобию Божию, не должны никогда прибегать ни к силе, ни к насилию – оружию зверей? Христианин должен обращаться к уму, к убеждению; не подражайте в этом буйной молодежи нашего времени, и в особенности таким развратникам, каков этот барон де Ларош-Буассо, всегда готовый противопоставить свою шпагу рассудку, истине и справедливости. Если впоследствии, что, впрочем, невозможно, вы будете иметь преимущества звания и богатства, которые цените так высоко, вспомните, что гнев и ненависть – пороки постыдные, недостойные вас.

Леоне отер глаза.

– Простите мне, дядюшка, этот припадок слабости, – сказал он, придавая твердость своему голосу, – я и сам не могу понять, как я мог увлечься... Но так как мы заговорили о моем положении в свете, позвольте мне, наконец, попросить объяснений, о которых уважение мне мешало расспрашивать до сих пор и которые, однако, каждый час становятся необходимее для моего спокойствия.

– Минута довольно дурно выбрана для объяснения, – сказал бенедиктинец, осматриваясь вокруг, – если, однако, у вас есть что-нибудь на сердце, дитя мое, не медлите более рассказать мне об этом.

– Может быть, мой добрый дядюшка, я должен был бы ранее открыть вам состояние моей души, вам, моему наставнику и лучшему другу. С некоторого времени мрачная грусть овладела мной; мечты честолюбия, удовольствия и мирской славы преследуют меня день и ночь. Это беспокойство ума, которое иногда становится истинной тоской, имеет, без сомнения, причиной глубокую неизвестность, в которой я нахожусь относительно ожидающей меня будущности. Мысль моя блуждает в пустоте и заблуждается за недостатком проложенного пути... Выслушайте же меня, мой возлюбленный родственник, и умоляю вас, не отвергайте просьбы, с которой я обращаюсь к вам, Я рано лишился отца и матери, которых никогда не знал; но ни в самых заботливых попечениях, ни в самой снисходительной нежности у меня не было недостатка. Да благословит вас Бог, достойный мой дядюшка, за неизменную привязанность, кото-

рую вы оказывали бедному сироте! Вы приняли меня в ваше мирное монастырское убежище, вы образовали мое сердце и мой ум, вы учили меня и словом и примером. Каждый из добрейших фронтенакских бенедиктинцев, ваших друзей и братьев, помогал вам в этом благотворительном призвании; самые ученые и самые благоразумные старались передать мне их науку и благоразумие. Поэтому я всех вас включил в общие чувства уважения и признательности; я считаю себя вашим сыном и спрашиваю себя, буду ли иметь когда-нибудь силы оставить вас. Однако, преподобный отец, с некоторого времени, или случайно, или умышленно, вы как будто употребляете все ваши усилия, чтобы отдалить меня от монастыря, где прошла моя юность; вы прерываете мои занятия, вы не пренебрегаете никаким случаем ввести меня в свет. Вот сегодня, например, вы требуете, чтобы я присутствовал при шумных и бурных сценах большой охоты... Эти требования, эти новые идеи и новые инстинкты, пробуждаемые ими, причина того нравственного расстройства, в котором вы меня видите. Против моей воли меня увлекают пылкие движения, как вы видели сейчас, с бароном де Ларош-Буассо, и энергия их пугает меня самого... От вас зависит положить конец этим безумным увлечениям. Если действительно я должен отказаться от света, я уверен, что преодолю их с вашими советами и вашими поощрениями. Умоляю вас, мой добрый дядюшка и преподобный отец, позвольте мне воротиться в аббатство как можно скорее, надеть одежду послушника и постричься после обыкновенного искуса; я желаю жить там и умереть посреди друзей, которые были и будут всегда для меня дороги.

Бонавантюр ожидал, без сомнения, этого предложения, потому что не обнаружил никакого удивления, зато многочисленные морщины собрались на его широком и плешивом лбу.

– Леоне, – спросил он с задумчивым видом, – хорошо ли вы обдумали? Искренне ли это призвание к монастырской жизни?

– Я... я так думаю.

– А я читаю в вашей душе, как в открытой книге, и уверен в противном. Эти пылкие движения, о которых вы мне говорите, ясно доказывают, что вы родились не для монастыря. Неужели вы думаете, что под монастырским одеянием эта гордая душа, эта кипучая кровь, эти раздражительные нервы вдруг успокоятся? Нет, эта одежда будет сжигать вас, как одежда Несусса... Притом, сын мой, причины, которые вы узнаете после, запрещают вам монастырскую жизнь.

– Что вы говорите, дядюшка? – вскричал Леоне вне себя от удивления, – неужели мне будет отказано в утешении, обещанном всем уязвленным душам?..

– Но ваша душа не уязвлена, а если б и так, то рана не может быть серьезна в ваши лета. Не расспрашивайте меня; но вы не можете и думать о пострижении – ни в Фронтенаке, ни в каком-либо другом монастыре... по крайней мере, до тех пор, пока обстоятельства не переменятся, и вы не поймете сами хорошенько важность подобной жертвы.

Леоне был в смущении.

– Отец мой, – возразил он, – я терпеливо буду ждать, когда вы заблагорассудите объяснить мне этот странный отказ; но если вы отвергнете меня из монастыря, тогда, боже мой! какова будет моя участь? Я всегда думал, видя, с каким старанием вы предостерегали меня против волнений и бурь светской жизни, что ваше тайное желание было внушить мне отвращение к ней...

– Если так, дитя мое, преподобные фронтенакские отцы и я перешли за цель, которой мы хотели достигнуть. Нашим единственным желанием было сделать из вас человека образованного, гордого, честного христианина, который был бы образцом в обществе... Но, Леоне, – прибавил бенедиктинец с оттенком строгости, – я проник истинную причину этого мнимого призвания, так внезапно явившегося в вас. Она происходит из оскорбленной гордости, от подавленного честолюбия... Вы начинаете усматривать блистательную сцену света и, как все молодые люди, чувствуете потребность играть там значительную роль, приобрести

славу, исчерпать все его радости. А посреди всех этих стремлений вас поражает ваше бессилие, ваше смирение; вы говорите себе, что пути, ведущие к высокому общественному положению, закрыты перед вами, бедным плебеем, племянником простого монаха... Отвечайте откровенно, Леоне, правда ли это?

– Любезный дядюшка, можете ли вы думать...

– Может быть, есть еще другие причины, – отвечал приор, бросив на него один из тех взглядов, которые как будто доходили до глубины души молодого человека, – но причина, объясненная мною, самая главная, самая неоспоримая. Ну, Леоне, я не хотел бы подать вам безумные надежды, но знайте, что будущность хранит для вас довольно выгод для удовлетворения умеренного честолюбия. Имейте доверие к самому себе и идите смело вперед, опираясь на рассудок и правосудие... Бог сделает остальное!

Так как эти слова, несмотря на сдержанность, сопровождавшую их, могли сделать слишком сильное впечатление на его племянника, приор прибавил:

– Еще раз, Леоне: не позволяйте вашим мыслям неблагоразумно стремиться за нелепыми химерами и старайтесь хорошенько понять меня... Я умер для света, и мне нечего более искать на земле. Но вы мой воспитанник, мой друг, мой приемный сын; вы росли на моих глазах; я сам развил в вас ваши добрые наклонности; я знаю, сколько заключается в вашем сердце добродетели среди несовершенства нашей человеческой натуры. Честолюбие, которого не имею для себя, я имею для вас. Я оживаю в моем возлюбленном ученике. Я задумал много планов для вашего земного счастья, для вашего возвышения, и этим планам фронтенакские бенедиктинцы, которые вас обожают, будут помогать всем своим влиянием. Наши усилия, наша энергия, наш вес будут употреблены на то, чтобы упрочить вам славную и счастливую участь.

Эти объяснения возбудили в Леоне какую-то недоверчивость; вместо того чтобы поблагодарить дядю, он оставался в каком-то мрачном принуждении.

– Мне приятно было бы думать, – сказал он, наконец, – что планы, о которых идет речь, не могут подать повод к неприятным толкам, и что эти интриги, в которых барон де Ларош-Буассо обвинял фронтенакских бенедиктинцев...

– А! Вот действие ядовитых слов этого барона! – перебил Бонавантюр с горестным удивлением. – Но вам ли, Леоне, обращать против ваших друзей и благодетелей эту ядовитую стрелу?

В тоне приора было столько упрека, что Леоне проворно соскочил со своего лошака, подбежал к дяде и, взяв его за руку, покрыл ее поцелуями и слезами.

– Простите меня, простите меня! – сказал он голосом, прерывавшимся от рыданий. – Если б вы знали, как я страдаю! Мне кажется, что Господь оставляет меня!

Искренность этой горести тронула приора.

– Я охотно извиняю, – отвечал он, улыбаясь с кротостью, – припадок безумия... Бедный Леоне! Неужели вы думаете, что я не угадываю причины этой странной перемены в расположении вашего духа, когда-то столь спокойного и ровного, причину этой угрюмой печали или той вспыльчивости, которая вдруг разразится как буря души... Но минута не благоприятна для рассуждения о подобных предметах!.. Мы в другой раз поговорим об этом... Садитесь на лошака, Леоне, и будем продолжать наше путешествие.

Молодой человек повиновался со своей обыкновенной покорностью, и они ехали несколько минут рядом.

– Дитя мое, – начал скоро бенедиктинец благосклонным тоном, – хотя я простил ваш поступок, я хочу наложить на вас наказание... Мы найдем в Меркоаре барона де Ларош-Буассо, и я с удовольствием увидел бы, если б вы избегали всяких новых споров с ним. Я имею особенные причины желать, чтобы между вами не было ни ненависти, ни гнева, и вы, конечно, раскаялись бы впоследствии, если б не последовали моим советам... Ну, Леоне, что вы будете отвечать мне?

– Я могу оставить без внимания оскорбления, обращенные ко мне, дядюшка; но должен ли я позволить оскорблять в моем присутствии особу, имеющую право на мою привязанность, на мое уважение?

– Мне нужно ваше безусловное обещание, и если вы исполните его верно, я буду судить, что вы искренно сожалеете о вашей непонятной запальчивости.

– Хорошо, дядюшка, я даю вам это обещание; но, боже мой, каким испытаниям подвергаете вы меня беспрестанно!

– Испытаниям? Леоне, я вас не понимаю.

– Я едва ли понимаю сам себя... Моя бедная голова – хаос, где все сталкивается и все путается... Ах, дядюшка, мой добрый дядюшка! Зачем вы потребовали, чтобы я ехал в Меркоар?

– Во-первых, мой милый, потому что я не мог бы найти дорожного спутника более верного и более приятного, как вы. С другой стороны, желая показать вам свет, в который вы должны вступить, я воспользовался этим благоприятным случаем, чтобы ввести вас в дом, где будет находиться избранное жеводанское дворянство. Наконец, у меня была еще другая причина: я заметил, любезный Леоне, что вы производите странное влияние на мадмуазель де Баржак. Эта самовластная девушка при вас возвращает некоторую робость и скромность, приличные женщине хорошего происхождения, будто ваш кроткий, нежный характер, исполненный чувства и рассудка, действует на эту надменную, пылкую и независимую натуру.

Это впечатление обнаружилось несколько лет тому назад. Помните, Леоне, первое посещение наше мадмуазель де Баржак в монастыре Мендских урсулинок? Уже шесть месяцев непослушная пансионерка жила в монастыре, а бедные монахини не могли еще научить ее азбуке; она рвала свое шитье и вышивание, бранила своих наставниц. Она пришла в приемную с растрепанными волосами, в разорванном платье, но прелестная, как возмущившийся ангел. Она нетерпеливо приняла мои увещания и свирепо хранила молчание; пока, в отчаянии от этой закоренелости, я разговаривал поодаль с настоятельницей, вы подошли к Кристине де Баржак. Хотя вы сами были дитя, однако, по-видимому, сожалели об огорчениях этого неукротимого ребенка. Она сначала слушала вас с удивлением, потом с охотой. Мы не могли слышать ваш разговор, но не переставали наблюдать за вами обоими. Тут лежала книга; раскрыв ее наудачу, вы начали объяснять механизм и состояние слов внимательной ученице. Скоро она схватила книгу в свою очередь, с минуту колебалась, запнулась; вам надо бы дать ей новые объяснения. Наконец она опять взяла книгу и на этот раз, о чудо! прочла без ошибки целую страницу. Чего наставницы не могли добиться за шесть месяцев усилий, вы достигли за несколько минут. Я был вне себя от восторга, а настоятельница плакала от радости, и сама ученица остоленела от своего удивительного успеха.

– Это правда, дядюшка, это правда, – отвечал Леоне с чрезвычайным волнением, – но к чему вызывать подобные воспоминания?

– С того времени, – продолжал бенедиктинец, – я имел многочисленные примеры вашего влияния на нее. При каждом моем посещении замка я замечал в ней благоприятную перемену, когда вы сопровождали меня. При вас она скромна, добра, воздерживается от вспыльчивости, которая приводит в отчаяние ее прислугу и друзей; наконец, она более походит на то, чем мы хотели бы, чтобы она была. Признаюсь вам откровенно, любезный Леоне, я действую для интересов нашей питомицы, везя вас к ней. Неблагодарная девушка не всегда почтительна ко мне и к другим фронтенакским бенедиктинцам – потому только, что наш долг подавать ей советы, порицать ее проступки и ее запальчивый характер. А я был бы в отчаянии, если бы при настоящих обстоятельствах мадмуазель де Баржак подала о себе неблагоприятное мнение.

Вы слышали, какие неприятные слухи ходят о ней между здешними жителями. Я надеялся, сын мой, что вы поможете мне одним вашим присутствием держать нашу воспитанницу в границах строгого приличия посреди знатных людей, которые стекутся в Меркоар.

– Но вы, дядюшка, столь благоразумный и столь осторожный, – вскричал Леоне с отчаянием, – неужели никогда не подумали об опасности, какую могут иметь на меня подобные опыты? Но вы ошиблись: влияния, которое вы приписываете мне, не существует; обстоятельства, о которых вы говорите, – действие случая. Мадмуазель де Баржак, девушка знатная и богатая, никогда не обращала на меня внимания. Она никому не показывает столько холодности, как ко мне; видя меня, она чувствует только какое-то стеснение. Чтобы понравиться такой живой, пылкой девушке, надо походить на блистательного и легкомысленного барона де Ларош-Буассо, который так угрюмо хвалился сейчас предпочтением, которое она ему оказывает... Я для нее ничто, говорю я вам! Дядюшка, заклинаю вас, не удерживайте меня долго в Меркоаре и, когда мы оставим замок, из сострадания ко мне, позвольте мне никогда туда не возвращаться!

Эти слова были как бы вырваны ужасной мукой; это был крик сердца, который на этот раз не мог не быть понятным. Притом, как, без сомнения, слушатели уже увидели, приор не ждал признаний, все более и более ясных, своего племянника, чтобы разобрать тайные чувства этой чистосердечной души. Он собирался уже обратиться к Леоне или с утешениями, или с упреками, когда взгляд, брошенный вокруг, придал другое течение его мыслям. Путешественники подъехали к мрачному ущелью между двух гор, покрытых деревьями до вершин. Дорога становилась трудной, неровной; огромные скалы едва давали место для проезда одного всадника. Солнце, низко спустившееся во время предыдущего разговора, позлащало еще вершины самых высоких утесов, но уже давно не проникало в это глубокое ущелье, где начал сгущаться мрак. Так далеко, как только могло простираться зрение, виднелись только деревья с темной зеленью; точно огромный, бесконечный лес обвивал своей лиственной сеткой холмы, долины и горы.

Эта внезапная перемена местности, дикий вид этой пустыни, а более всего уверенность, что в этих местах страшный жеводанский зверь производил опустошения, произвели сильное впечатление на дядю и племянника. Приор поэтому отвечал только с легким изменением в голосе:

– Я мог бы сказать многое о словах, вырвавшихся у вас, дитя мое, но в эту минуту у меня недостает необходимой свободы духа, и мы после возобновим этот разговор. Мы приближаемся к тому месту, где еще вчера зверь растерзал несколько жертв... Не будем говорить более, и старайтесь ехать как можно ближе ко мне. Да защитят нас Бог и Святая Дева!

Леоне не разделял страха своего дяди; но, может быть, он сам был не прочь отложить объяснение, вызванное им. В сердце юноши есть всегда стыдливость, заставляющая его колебаться обнаружить первые тайны своей любви. Поэтому молодой человек вовсе не огорчился этим отлагательством и с покорностью повиновался желанию приора.

Они ехали несколько минут очень скоро, но чем более продвигались, тем более сгущалась вокруг них темнота. Лес был из сосен, дубов и буков. Эти густые и частые деревья не позволили бы даже в полдень и в светлый день читать под их покровом, и в этот час вечера глаз не мог ничего различить в их мрачной глубине; хворост и терновник бросали на дорогу свои колючие гирлянды. Вершины гор, скал – все, что могло бы служить приметам, исчезло. Однако путешественникам было известно, что этот лес пересекался многочисленными дорогами, и что ошибка при настоящих обстоятельствах была бы небезопасна.

Они сначала руководились колеями, проведенными телегами, запряженными быками, отправлявшимися в Меркоар; это был верный признак, что они ехали по дороге в замок. Но скоро этот спасительный признак исчез, почва переменялась, сделалась сухой, каменистой и слишком жесткой для того, чтобы сохранять следы колес. Напрасно они ждали какой-нибудь прогалины, какой-нибудь возвышенности, какого-нибудь предмета, знакомого их глазам, который позволил бы им удостовериться, по какому направлению они едут. Мрак покрывал все

своим унылым однообразием, и оба всадника видели один другого как неопределенные и фантастические силуэты.

Наконец они доехали до того места, где дорога разделялась надвое, и Леоне остановил своего лошака. Приор, читавший молитвы, может быть, для того, чтобы забыть свой тайный ужас, также удержал своего лошака.

– Дядюшка, – сказал молодой человек с замешательством, – я думал, что мы доехали, наконец, до креста святого Павла, но я ошибся... Мы, без сомнения, проехали крест, не заметив его... Вы знаете это место, где мы теперь? Я не помню, чтобы я бывал здесь когда-нибудь.

– И я также, дитя мое, – отвечал приор плачевным голосом. – Святая Дева! Уж не заблудились ли мы?

– Во всяком случае, мы заблудились немного; но мне хотелось бы добраться до вершин гор. Там должно быть еще светло. Что вы скажете, дядюшка, не взять ли нам по этой дороге налево, которая, кажется, ведет на вершину Монадьерской горы? Если передо мной будет открытое пространство, я сумею найти замок.

– Поручаю себя вам, мой милый, – робко отвечал Бонавантюр, – сознаюсь охотно, что в эту минуту ваши советы будут лучше моих... Надеюсь, – прибавил он, усиливаясь шутить, – что не всегда так будет впредь.

Сам Леоне казался в большой нерешимости, когда отдаленный звук рога раздался налево среди тишины.

– Сюда, дядюшка, сюда! – вскричал Леоне. – Мы, конечно, найдем людей в той стороне. Притом мы доберемся до горы и положительно узнаем дорогу... Итак, в путь! Не надо, чтобы ночь застигла нас в этой непроходимой чаще.

Приор бесстрастно повиновался; но ожидание Леоне было обмануто. Новая дорога, сначала приподнимавшаяся, круто спустилась вниз, к той лесной глубине, которую хотели избежать.

Заблудившиеся путешественники должны были опять остановиться и совещаться. Во время этой короткой остановки рог раздался снова, но на этот раз с противоположной стороны.

– Непонятно, – сказал бенедиктинец с беспокойством, – теперь звук раздался справа от нас!

– В горах есть акустические эффекты, – отвечал Леоне, задумавшись, – расположение местности и этот густой туман могут причинять необыкновенно обманчивые мечты; человек, держащий рог, без сомнения, не там где он кажется. Мы слышим его то здесь, то там, а он, может быть, находится только в двухстах шагах перед нами!

– В таком случае, дитя мое, почему бы нам не испробовать позвать его к нам на помощь?

– Попробуем, дядюшка.

Оба, соединив свои голоса, громко вскрикнули несколько раз и замолчали, чтобы послушать, будет ли ответ на их призыв. Но крики их как будто были поглощены этой тяжелой, неподвижной атмосферой. Отдаленное эхо, как бы играя, повторило звуки их голосов, потом все смолкло.

Приор решительно отказался от власти, которую лета и опытность давали ему над его молодым спутником.

– Что мы будем делать, Леоне? – спросил он.

– Право, дядюшка, я не знаю; мне кажется, однако, будто я вижу следы животных на земле. Может быть, эта дорога ведет к какому-нибудь жилищу... Будем же продолжать путь.

– Хорошо, – сказал Бонавантюр, – не всегда ли мы под перстом Божиим!

Эта настойчивость путешественников скоро получила свою награду. Дорога пошла в гору, и воздух сделался не так сыр. Хотя деревья еще составляли густой свод над головами всадников, однако около них становилось все светлее, звуки рога становились яснее и ближе. Они начали уже думать, что выйдут, наконец, из затруднительного и, может быть, опасного

положения, в котором они находились, когда неожиданный случай обратил их неопределенные опасения в справедливый страх.

Они ехали осторожно, когда свирепый вой раздался из непроходимой чащи на некотором расстоянии. Лошаки остановились неподвижно, подняв уши и дрожа всеми членами, как делают робкие животные, чувствующие приближение хищного зверя.

Приор и племянник переглянулись.

– Жеводанский зверь! – сказал бенедиктинец, побледнев. – Да простит нам Господь наши согрешения... мы погибли!

Леоне отыскивал глазами предмет, из которого мог бы сделать себе оружие, потому что мог противопоставить только свой хлыст опасному противнику, возвещавшему о себе таким образом.

– Ободритесь, дядюшка, – отвечал он, – этот волк, если только действительно это он, не осмелится, может быть, напасть на двух человек верхом... Если б у меня была хоть хорошая дубина...

Рев прекратился; теперь слышались в терновнике только шаги большого тела, проворно прокладывавшего себе дорогу; но чаща была так густа, темнота так глубока, а туман так плотен, что ничего нельзя было рассмотреть.

Вдруг вой послышался снова; на этот раз зверь казался только в нескольких шагах от путешественников.

Это испытание было слишком сильно для бедного бенедиктинца; воображая уже, что члены его трещат под зубами чудовища, он начал испускать крики отчаяния. Леоне, напротив, искал врага глазами, готовый отразить нападение как мог; но мужество его не могло принести ему никакой пользы. Лошаки, испуганные до головокружения этим воем, раздавшимся так близко, поднялись на дыбы, повернули и убежали каждый в свою сторону. Лошак приора унес своего всадника, который ухватился за его гриву и продолжал кричать. Лошак Леоне, не находя перед собой пустого пространства, бросился слепо в кусты и с неистовством прыгал между ползучих растений и колючек.

Молодой человек держался на лошаке несколько минут, несмотря на его неистовые прыжки. Но его искусство в верховой езде не помешало ему наткнуться на низкую ветвь бука и слететь с седла именно в ту сторону, откуда слышался последний вой.

Падение было жестоко, и Леоне лежал оглушенный, без движения, ничком. Тотчас тихое ворчанье раздалось в ушах его, тяжелое тело упало на него, и он чувствовал, как острые зубы вонзились в его плечо, а когти вцепились в тело сквозь одежду.

Боль, неизбежность опасности заставили Леоне опомниться; он старался повернуться и высвободить руки, чтобы оттолкнуть свирепого зверя, который пожирал его живьем; но колючие растения запутывали его своими узлами, листья ослепляли его, тяжесть, лежавшая на нем, парализовала его движения. Он успел, однако, повернуться на бок и одной рукой оттолкнуть чудовище, которого не мог видеть. Но рука его встретила не голову хищного зверя; это было скорее какие-то жесткие, нечесанные, взъерошенные волосы, принадлежавшие человеческой голове.

В эту страшную минуту, когда инстинкт самосохранения преобладал над рассудком, Леоне не искал объяснения этого непонятного обстоятельства. Он продолжал бороться против царапанья и укусов своего неизвестного противника и судорожно вертелся, сам не зная, что делает.

Наконец борьба прекратилась, когда несчастный молодой человек, истощенный, запыхавшийся, почти лишившийся чувств от страдания и страха, становился уже не способен к сопротивлению. Когти и зубы перестали его рвать, и он почувствовал облегчение от тяжести. Оживленный этой внезапной переменой, он успел приподняться и, облокотясь на землю, осмотрелся кругом диким взором.

Все следы его грозного противника исчезли; слышался еще шум в соседних кустах, но ничего нельзя было видеть. Притом внимание Леоне было отвлечено другим шумом, раздававшимся на дороге и приближавшимся с быстротой. Это были звуки рога, теперь совершенно внятные, сильный лай, а главное – голос приора, звавшего Леоне с беспокойством.

Леоне не мог отвечать; он оставался все в том же положении, еще сомневаясь в своем собственном существовании. Наконец он смутно приметил в тумане двух человек, одного пешком, а другого верхом, которые как будто отыскивали его, и он слышал, как дядя его звал:

– Леоне, где вы? Леоне, ради бога, живы ли вы еще? Отвечайте мне поскорее.

Бедный молодой человек успел, наконец, преодолеть свою ужасную слабость.

– Сюда, дядюшка, с этой стороны!

– Ах, мы, наконец, его нашли! – вскричал бенедиктинец, соскочив с лошака. – Ну, мой милый, ранены вы?

– Кажется, нет, дядюшка.

– Слава богу! Слава богу!

Бонавантюр хотел помочь Леоне встать, но его спутник сказал ему на туземном наречии:

– Берегитесь, преподобный отец! Зверь, должно быть, недалеко, потому что моя собака ворчит... Полно, Кастор! Не отходи – ты, может быть, нам понадобишься.

Но его опасения не могли остановить приора, обрадовавшегося, что он нашел своего приемного сына. Он переступал через препятствия, не обращая внимания на свою бенедиктинскую рясу; он сжимал в объятиях бедного Леоне, который бесстрастно принимал его ласки.

Только когда молодой человек с помощью дяди добрался до дороги, можно было составить себе верное понятие о его плачевном состоянии. Шляпа его была смята, платье разорвано, руки и лицо омочены кровью. На левом плече виднелась широкая рана, как будто кусок тела был вырван когтями или зубами.

Испуганный Бонавантюр поспешил перевязать рану носовым платком. Его спутник помогал ему в этом сострадательном деле.

– Господи помилуй! – с ужасом говорил этот человек на туземном наречии. – Чуть-чуть было вы не попались; еще минута, и вы были бы растерзаны!

Тот, кто говорил таким образом и кто так кстати помог путешественникам, был – как слушатели, без сомнения, угадали – Жан Годар, меркоарский пастух. Оставив Лангонь, он отправился по проселочной дороге, годной только для пешеходов. Войдя в ту часть леса, где зверь производил свои опустошения, он вздумал затрубить в пастушеский рог, чтобы предохранить себя от нападения свирепого животного. Он услышал зов дяди и племянника и, угадав, что, верно, кто-нибудь заблудился в тумане, имел человеколюбие отправить их отыскивать. Крики, раздавшиеся в минуту катастрофы, привлекли его внимание, и он чуть было не был сбит с ног приором, которого нес лошак. Они успели, однако, приблизиться друг к другу и после краткого объяснения бросились на помощь к Леоне, которого по справедливости предполагали в большой опасности.

Впрочем, бедный молодой человек, так чудесно спасенный, не мог задавать никаких вопросов. Присутствие духа медленно возвращалось к нему.

– Дядюшка, – сказал он, наконец, изменившимся голосом, – видели вы его? Конечно, он пробежал мимо вас?

– Кто? – с удивлением спросил приор.

– Этот человек... этот негодяй, который ранил меня.

– Человек! Вы грезите?... Без сомнения, несчастный юноша получил сильный удар в голову... Рассудите, милый Леоне, вы имели дело не с человеком, а с чудовищем, которое называется жеводанским зверем.

– Жеводанским зверем! Уверены ли вы в этом, милый дядюшка? – спросил Леоне, идеи которого пробуждались мало-помалу. – Право, я не смею утверждать, я едва понимаю, где я... однако, я не могу поверить, чтобы меня так отделал хищный зверь.

– Боже милосердый! Кто же? – сказал пастух. – Если б вы могли видеть, какая рана у вас на плече, вы не имели бы никакого сомнения на этот счет. Какие зубы! Жалости достойно... Но, господа, нельзя же здесь дрогнуть; ночь приближается, а зверь чертовски упрям; если ему придется фантазия опять напасть на нас, пожалуй, мы с ним не сладим. В этом лесу ничего хорошего не дождешься после заката солнца.

– Этот добрый человек прав, – сказал вдруг приор, который, успокоившись насчет своего племянника, начал пугаться за себя. – Поедем немедленно!.. Какое гибельное и злое место! Не надо оставаться здесь долее; тебе нужна быстрая помощь, Леоне, дитя мое... Мужайся же, и постараемся как можно скорее добраться до замка.

Лошака Леоне найти было нетрудно. После падения всадника он сам упал и до того запутался в кустах, что не мог встать. С трудом Жан Годар мог поставить его на ноги и поспешил привести к Леоне. Но с первых шагов можно было узнать, что раненый неспособен был ехать верхом: голова его качалась направо и налево, больная рука не могла держать поводьев. Тогда Жан Годар без церемоний вскочил на лошака и, обхватив одной рукой племянника приора, другой схватил поводья, закричав:

– В путь! В путь! Когда выедем из леса, мы устроимся как можно лучше, но теперь не время нежиться. Вот Кастор наострил уши и огрызается... В путь! Ты, Кастор, держись твердо... Через четверть часа мы будем вне опасности.

Он погнал лошака, и Бонавантюр поехал за ним, между тем как собака шла последней, ворча и часто поворачивая голову.

Глава пятая

Замок Меркоар, в котором жила Кристина де Баржак, возвышался почти посреди того самого огромного леса, где фронтенакский приор и его племянник подвергались таким большим опасностям. Он был выстроен в эпоху, когда вообще во Франции перестали укреплять жилища сельских дворян; но никогда Жеводанская провинция не была довольно спокойна, по милости религиозного антагонизма и ненависти, порождаемой им, для того, чтобы сделать бесполезными некоторые предосторожности. Поэтому жилища меркоарских помещиков имели средневековый вид, Замок был выстроен на возвышенности над деревушкой в тридцать домов. Огромные башни с аспидными кровлями стояли по четырем углам; замок был окружен рвами, стенами и снабжен подъемным мостом. Правда, во рвах не было воды, в стенах были многочисленные проломы, а подъемный мост оставался неподвижным за неимением цепей. Но надо было подойти очень близко, чтобы заметить эти опустошения времени; издали замок со своими острыми зубцами, мрачной массой вулканических камней и высокими серыми стенами имел величественный вид, внушавший мысли о важности его владельцев.

В тот день, когда происходили события, рассказанные нами, окрестности этого жилища, обыкновенно уединенные и безмолвные, представляли большое одушевление. Все дороги, сходившиеся в Меркоаре, были наполнены путешественниками, в одиночку или группами, одни пешком, другие верхом, спешившими присутствовать на завтрашней охоте на волка. Между ними виднелись дворяне, соседние охотники на прекрасных лошадях и хорошо вооруженные, за ними пешие егеря вели своры собак. Некоторые из этих дворян везли на своей лошади жену или сестру, которые скрывали свой смелый способ сидеть на лошади посредством широкой драпировки, тогда называвшейся верховым передником. Но женщин было мало или оттого, что они боялись опасностей путешествия, или потому, что не хотели подвергаться вспышкам и резким выходкам эксцентрической владельницы замка. Только несколько неустрашимых деревенских жительниц, соскучившись в своих замках и горевших нетерпением нарушить смертельное однообразие жизни, осмелились явиться в это собрание, где утомление было вероятнее удовольствия.

Путешественники, миновав подъемный мост, въехали на двор замка, где ничто не вещало слишком изящного и желанного гостеприимства. Этот двор, отведенный для сельских занятий, был загроможден изломанными тележками и бочками, кучами навоза, и среди всего этого прыгали, кудахтали куры, голуби и утки. Разрушенные строения, окружавшие этот двор, давно уже были брошены; судя по разбитым окнам без стекол, они теперь служили сеновалами.

На этом-то первом дворе всадники сходили с лошадей и останавливались пешеходы, не получившие особенного приглашения от владельницы замка. Два работника с фермы, одевшись для этого случая в ливреи с галунами, принимали на этом дворе приезжавших. Они снимали дам с лошадей, брали чемоданы и дорожные мешки, ставили лошадей в конюшни. Гостей низшего звания провожали в обширную низкую залу, где на столах разложены были хлеб, вино, сыр и каштаны. Садись, пили и ели без церемонии, и тем лучше можно было наслаждаться этим изобильным угощением, что гостям, насытившись, стоило только растворить соседнюю дверь, чтобы очутиться на сеннике, будущей спальне. Гостей же благородного звания лакей провожал на второй двор, вокруг которого высились здания, занимаемые владелицей замка.

Эта часть замка содержалась гораздо лучше; там царствовали совершенный порядок и необыкновенная чистота. Корпус и два флигеля составляли три стороны этого квадратного двора, среди которого был хорошенький фонтан. Четвертую сторону составляли железная решетка и ворота с гербом фамилии де Баржак. Ворота эти вели в обширный парк, прежде отделенный от леса стеной и рвом; но время употребило стену на то, чтобы наполнить ров, и

давно уже одна решетка защищала замок против несколько смешанного общества, посещавшего меркоарский лес, общества особенно шумного в длинные зимние ночи.

На одном углу второго двора небольшое каменное крыльцо вело в приемные комнаты. На этом крыльце старый господин высокого роста, худощавый и прямой, с важным видом исполнял обязанности церемониймейстера. Он был весь в черном, в жабо, манжетах и с косицей; шляпу он держал под мышкой и одной рукой со смешной важностью опирался на эфес длинной шпаги. Это был кавалер де Меньяк, дворянин хорошей фамилии, но младший брат и, следовательно, очень бедный. Храбрый кавалер, прослужив с отличием в кавалерской армии, вел бы очень плохую жизнь, если бы фронтенакский приор, знавший его давно, не вздумал поместить его управляющим и почетным конюхом питомицы монастыря. В настоящих обстоятельствах де Меньяк казался проникнут важностью своих обязанностей. Его длинное лицо выражало смесь достоинства и замешательства. Как только подходили гости, он делал три шага навстречу к ним, целовал руки дамам, низко кланялся мужчинам, потом провожал их в большую столовую, где уже находилось многочисленное общество. Там говорил он комплимент, придуманный заранее, всегда один и тот же, в котором извинялся за отсутствие хозяйки, «которая была занята, – говорил он, – но скоро придет».

– А пока, – прибавлял кавалер, – моя благородная госпожа приглашает вас через меня располагать всем принадлежащим ей как вашей собственностью. Дом ее и слуги в вашем распоряжении.

Потом кавалер де Меньяк кланялся опять и возвращался на свое место на крыльцо. Но, может быть, ему казалось, что он недостаточно вознаграждал своей преувеличенной вежливостью наружное равнодушие своей госпожи такому множеству гостей, потому что, оставшись один, он глубоко вздыхал и бросал тоскливый взгляд на ту часть замка, где окна оставались закрытыми.

Гости, со своей стороны, могли бы обидеться, что Кристина де Баржак поручила своему конюшему принимать их, но веселые охотники и деревенские соседи, приезжавшие каждую минуту, не обращали на это большого внимания. Они привыкли к фантазиям хорошенькой владельницы замка, и никто не думал этим обижаться. Притом яркий огонь горел в камине, стол был заставлен холодной говядиной, кушаньями всякого рода, отборными винами; приготовлены были прекрасные кресла; проворные слуги ходили взад и вперед, удовлетворяя всем требованиям; на что же могли жаловаться гости? Поэтому гости, не обращая внимания на недостаток церемонии приема, весело садились за гостеприимный стол и принимали буквально приглашение кавалера поступать как дома.

Какие же «важные дела» задерживали хозяйку? В небольшом садике, служившем манежем, вместе со своей гувернанткой Маглоар и старым Мориссо, бывшим егерем ее отца, она обучала небольшую лошадь степной породы, на которой хотела ехать завтра на охоту.

Кристина де Баржак, которой было тогда восемнадцать лет, была стройной и гибкой, как горная сосна. В каждом ее движении была грация, точно так же, как сила и гибкость. Лицо смелого очертания, рост, красные и презрительные губы, черные глаза в виде миндалин составляли в совокупности замечательную красоту. Однако эта красота не имела еще определенного характера, цвет лица, немножко смуглый от загара, не показывал женственной деликатности, а глаза не умели опускаться под веками, оттененными длинными ресницами. Это был шаловливый, избалованный, самовольный ребенок в привлекательном виде молодой девушки. Жесты ее были тверды, часто повелительны, малейшее противоречие проводило легкие морщины на ее белом и чистом лбу.

Наряд, который был на ней в эту минуту и который был ее любимым костюмом, придавал еще более мужественный вид ее наружности. На ней было зеленое шелковое платье, похожее фасоном на наши современные амазонки. На великолепных черных волосах, которые она не позволяла пудрить, несмотря на требования моды, была надета шелковая сетка и неболь-

шая треугольная шляпка с белыми перьями и золотым галуном. Этот полумужской костюм, прекрасно согласовавшийся с деятельной жизнью, с решительными манерами Кристины де Баржак, заставлял говорить тамошних жителей, что она одевалась по-мужски, и действительно, если бы не юбка, длинный шлейф которой мог приподниматься к поясу, ее приняли бы за бойкого маленького дворянчика, который скорее готов был сделаться мушкетером, нежели семинаристом.

Мы уже знаем несколько обстоятельств, имевшие влияние на Кристину и сделавшие ее столь непохожей на других молодых девушек ее возраста. Лишившись рано матери, она постоянно жила с мужчинами в этом уединенном замке. Отец ее и дядя, искусные охотники, но очень несведущие и порядочно грубые, принимали у себя только охотников; они находили какое-то глупое удовольствие видеть, что девушка принимала свободный тон, развязные манеры, от которых теперь не могла освободиться. На веселых обедах, следовавших за охотой, приносили маленькую Кристину, и эти пьяные гости находили удовольствие заставлять ее повторять ругательства, бывшие в моде, научать ее бойким движениям и слышать, как она напевает вакхическую песню. Отец ее, очень желавший иметь сына, когда родилась Кристина, не помнил себя от радости при этих шуточках; дядя ее, еще более неблагоприятный, научал новым шуткам. Однако и тот и другой обожали это невинное существо; они не думали, что, может быть, развращали ее юное воображение, они видели в ней игрушку, которой забавлялись с пагубной непредусмотрительностью.

Таково было первое воспитание Кристины. По милости инстинктов подражания, свойственных человеческой натуре, она переняла вкусы, нравы, язык окружавших ее. Она думала только о том, как бы бегать, прыгать, ездить верхом. Когда дядя ее умер после охоты на болоте, отец перестал поощрять этот причудливый и шумный нрав. Однако незадолго до своей смерти де Баржак как будто, наконец, увидел всю опасность своего поведения и раскаялся в преступном легкомыслии. Чтобы загладить вину, он завещал опеку над дочерью фронтенакским бенедиктинцам, которых считал наиболее достойными подобного поручения. К несчастью, было уже поздно изгладить следы первого порочного воспитания: Кристине было двенадцать лет, а в этом возрасте уже трудно принять новые идеи, преодолеть некоторые наклонности, некоторые привычки. Поэтому старания добрых бенедиктинцев в то время, о котором мы говорим, были еще несовершенно, и благородной девице недоставало кротости.

В эту минуту, как мы сказали, мадмуазель де Баржак, не обращая внимания на многочисленных гостей, приехавших в замок, обучала маленького Бюша, свою любимую лошадь. Это было не очень легко. Бюш, хорошенькая вороная лошадка с быстрыми глазами, казалась, несмотря на свой маленький рост, такой же своевольной, такой же капризной, как и ее госпожа. На Бюше сидел Мориссо, который, несмотря на свои семьдесят лет, вообразил себя еще превосходным всадником. Кристина с хлыстом в руке стояла посреди манежа и командовала. Иногда лошадь с удивительной кротостью слушалась всадника, но иногда лягалась и становилась на дыбы. Тогда мадмуазель де Баржак хлопала хлыстом, сердилась то на лошадь, то на всадника. Часто также, выйдя из терпения, она приказывала Мориссо сойти с лошади, и хотя у Бюша была только уздечка и легкая попона, она проворно вскакивала на него, приказывала ему исполнять указанный маневр, потом сходила с лошади, бралась за свой хлыст и говорила Мориссо:

— Черт побери, старый бездельник! Неужели ты не стыдишься своей неловкости? Бюш горяч, но не зол, и ты не умеешь с ним обходиться. Ты приступаешь к нему вдруг, вместо того чтобы дать ему время подумать о том, чего ты ждешь от него... Черт побери! Самый рассудительный из вас двоих не тот, который считается таким!

Каждый раз, как из ее хорошенького ротика вырывались неприличные выражения, жалобный голос вскрикивал за ней:

– Святая Дева! Мадмуазель де Баржак, вы опять ругаетесь, несмотря на ваше обещание!.. Что скажут бенедиктинцы, увидев, что я воспитываю вас так дурно? По меньшей мере, я буду отлучена от церкви.

– Хорошо, хорошо, сестра Маглоар! – возражала Кристина презрительно. – Не беспокойся о том, что скажут или сделают эти проклятые святоши.

– Проклятые святоши! Но ведь это нечестивость, святотатство... Ах, милое дитя, вы, верно, хотите погубить вашу душу! Да простит вам Бог ваше прегрешение!

Сестра Маглоар, говорившая таким образом, сидела в углу манежа. Защищаемая кадка с цветами от прыжков капризного Бюша, она вязала, по своей привычке, шерстяной чулок. Гувернантка мадмуазель де Баржак носила в замке свой костюм урсулилки. Это была женщина лет пятидесяти, обращение которой показывало, что она жила прежде в свете. Она слыла очень образованной, но ее выбрали в наставницы Кристине, особенно, за ее неизменное терпение и глубокую набожность, которая побуждала ее безропотно переносить несправедливости, жестокости и даже оскорбления. Мы должны сказать, что эти добродетели сестры Маглоар подвергались часто жестоким испытаниям. Урсулинка разделяла с кавалером де Меньяком управление замком, и они постоянно старались склонить их воспитанницу к дисциплине приличий. Дома урсулинка имела верх, она читала длинные нравоучения и прибегала к патетическим мерам, чтобы удерживать Кристину в границах приличия. Вне дома суровый и флегматический кавалер де Меньяк всюду провожал свою молодую госпожу, и пешком и верхом. Менее красноречивый и, в особенности, менее болтливый, чем сестра Маглоар, он сопровождал каждое свое наставление правилом кратким и непреложным, как аксиома; но, раз приняв решение, он дал бы себя прибить, разорвать на куски скорее, чем уступить, и его холодное упорство обыкновенно лучше удавалось с запальчивой молодой девушкой, чем бесконечные поучения урсулилки.

Однако мадмуазель де Баржак, как можно легко себе представить, переносила с крайним трудом этот двойной надзор. Сердце у нее было доброе, несмотря на ее дурное воспитание, и она имела довольно природного смысла, чтобы признавать превосходство цели, к которой они стремились; но эти неотступные нравоучения раздражали ее гордость. Нельзя сказать, чтобы она ненавидела своих слишком ревностных покровителей, но ей нравилось обманывать их надзор какой-нибудь веселой шалостью, мучить их тысячами способов. Это поведение приводило в отчаяние честного кавалера и бедную урсулинку, и хотя во всем остальном жизнь их была довольно приятная в замке, много раз уже они готовы были отказаться от обязанности, которая производила такие отрицательные результаты.

Пока мадмуазель де Баржак смотрела на быстрые эволюции Бюша, урсулинке доносили все, что происходило в другой части замка. На пороге соседней двери время от времени являлась камеристка в живописном туземном костюме. Она говорила несколько слов печальной урсулинке и тотчас уходила. Эта проворная посланница была отправлена кавалером доносить гувернантке о приезжавших благородных гостях и просить ее напомнить хозяйке об обязанностях гостеприимства.

Урсулинка сама только этого и желала; она хотела несколько раз укоротить урок в манеже, но ее упрямая ученица не слушалась ее просьб, а урсулинка, боясь раздражить ее своей настойчивостью, ожидала благоприятного случая уговорить ее.

Этот случай скоро представился. Лошадь выказывала усталость, а старый конюх, более мужественный, чем сильный, по причине своих преклонных лет, был весь в поту. Кристина велела Мориссо отдохнуть, потом села на скамейку возле своей гувернантки и, сняв шляпку, начала небрежно приглаживать свои растрепанные черные волосы.

– Дитя мое, – сказала урсулинка, воспользовавшись удобной минутой, – не пора ли нам идти домой? Вас гости ожидают в гостиной; вы обязаны показать внимание к дворянам, приехавшим освободить ваши земли от ужасного зверя, опустошающего их.

– Сколько шума из-за волка! – возразила молодая девушка, пожимая плечами. – Я помню, как отец мой и дядя Гилер убили шесть волков на одной охоте, и, как ни была мала, я присутствовала при этом в ущельях Лозера, тогда заваленных снегом... Ах, сестра Маглоар! – продолжала она с умилением, довольно редким в ней. – Ты не знала моего отца и моего доброго дядю Гилера; какие это были люди, и какие охотники! Если бы они еще были живы, они не прибегали бы к этим хвастливым дворянчикам, которые делают больше шума, чем дела. Они сели бы на лошадей и со своими егерями и двенадцатью ретивыми собаками скоро расправились бы с этим проклятым зверем, столь жадным к человеческому телу. Но времена переменились! Бедный отец! Бедный дядя Гилер!

И она отвернулась, как бы затем, чтобы скрыть слезу.

– Я знаю, дитя мое, – холодно возразила урсулинка, – что де Баржаки были благородные вельможи и опытные охотники; хотя они жестоко пренебрегли некоторыми обязанностями относительно вас, но, тем не менее, вы должны быть признательны добрым соседям, которые помогают вам в настоящих обстоятельствах, и вы хорошо бы сделали, если бы пошли сами.

– Э, черт побери! Разве кавалер де Меньяк не там? Верно, позаботились, чтобы у них ни в чем не было недостатка, я надеюсь?

– Без сомнения; но некоторые важные особы могут обидеться вашим продолжительным отсутствием... Например, граф де Лаффрена...

– Дайте ему зеркало; он не соскучится, пока будет любоваться своим лицом в зеркале, если б даже ему пришлось провести всю ночь в этом приятном занятии.

– Маркиз де Бреннвиль.

– Пусть его отведут в конуру, ему нравится общество собак.

– Барон и баронесса де Флорак.

– Пусть посадят их за стол и постоянно наполняют их рюмки и тарелки. Ручаюсь вам, что они не приметят моего отсутствия, если только вина и кушанья будут им по вкусу.

– Однако, мадмуазель де Баржак, – продолжала урсулинка, несколько рассердившись, – с минуты на минуту могут приехать гости, которым вы должны показать внимание и уважение.

– А! Вижу, о ком пошла речь, сестра Маглоар; ты, верно, ждешь этих проклятых... я хочу сказать, этих бенедиктинцев из аббатства?

– Вам следует почтительно говорить о ваших благодетелях, о ваших наставниках, – с колкостью возразила гувернантка, – Да, сударыня, для них приготовлены комнаты.

– Да черт же их...

– Мадмуазель де Баржак!

Кристина закусила губы и топнула ножкой, обутой в сафьянный сапог. Сестра Маглоар вздохнула и подняла глаза к небу. Это значило, что она готовится прочесть длинное нравоучение своей воспитаннице, когда молодая камеристка доложила о приезде барона де Ларош-Буассо. Это известие вдруг изменило идеи мадмуазель де Баржак.

– Ларош-Буассо! – вскричала она. – Ах, тем лучше! Он такой веселый! Мы здесь будем забавляться, как... в прошлые времена... Ты права, сестра Маглоар, – продолжила она, поспешно вставая, – я хочу воротиться домой.

Но гувернантка не разделяла уважения Кристины к барону и не вставала со своего места.

– Право, я не понимаю вашего предпочтения к барону, – возразила она, – это, говорят, мот, развратник, даже, может быть, враг нашей святой религии.

– Это славный охотник, чудесный наездник, веселый собеседник, об остальном я не справлялась, – беззаботно возразила мадмуазель де Баржак, – притом он не надоедает мне пошлостями и комплиментами, как другие... Хочешь, я тебе скажу, сестра Маглоар, откуда происходят твои предубеждения против него? Оттого, что он мне нравится. Ты всегда такова к тем, кто мне нравится, но, черт побери, я буду поступать по-своему!

И она подошла к своему конюху, который, держа лошадь за узду, отдыхал.

– Надо кончить, Мориссо, – сказала она, – но так как ты устал, я сама кончу урок.

Она без усилий прыгнула на спину ретивой лошади, которая начала грациозно прыгать, как бы изъясняя свою радость. Прекрасная амазонка заставляла ее несколько минут повторять самые трудные эволюции, переменять аллюр и вдруг останавливаться после скачки в галоп. Наконец, довольная послушанием своей лошади, она сделала старому конюху таинственный знак.

– Теперь последнее правило грамматики, – сказала она, улыбаясь.

– Вам угодно, чтобы я принес...

– Шш! – сказала лукавая девушка.

И она указала на сестру Маглоар, которая опять принялась за свою работу.

Мориссо понял ее мысль и в свою очередь лукаво улыбнулся, потому что он не любил урсулинки, читавшей ему беспрестанно нравоучения. Он пошел за пистолетами, лежавшими недалеко, и молча подал их своей барышне. Та начала галопировать вокруг манежа и, проезжая мимо урсулинки, положила один из пистолетов между ушами Бюша и выстрелила.

При этом неожиданном звуке сестра Маглоар вздрогнула, жалобно закричав: «Господи Иисусе!» – между тем как безжалостная девушка громко хохотала.

– Ну, милая сестра, – вскричала она, – неужели я никогда не приучу тебя к стрельбе?... Но, клянусь моей душой, кажется, и Бюш слегка вздрогнул!... Я не потерплю этого, мосье Бюш! Я опять выстрелю, и если ты пошевелишься... Не бойся на этот раз, сестра Маглоар; опасности нет, ты это знаешь.

Она выстрелила из другого пистолета. Пламя пороха коснулось гривы Бюша, но лошадь как будто не заметила этого, и ничто не возмутило правильности ее шага.

– Ну, вот и прекрасно! – сказала Кристина с торжеством.

Она сошла с лошади. Пока она гладила рукой блестящую и гладкую шею лошади, конюх подошел взять поводья.

– Я грубо обошлась с тобой, мой бедный Мориссо, – сказала мадмуазель де Баржак дружеским тоном, – я виновата, прости меня... Бюш прекрасно обучен; вот тебе несколько луидоров, выпей за мое здоровье.

Старый слуга рассыпался в изъявлениях благодарности, когда эта странная девушка повернулась к нему спиной и подошла к сестре Маглоар. Тогда только она заметила, что урсулинка была вся в слезах.

Удивление и горечь тотчас заменили радостное выражение ее лица. Она бросилась на шею своей гувернантки и сказала ей с волнением:

– Что с тобою, милая сестра? Неужели ты так дурно принимаешь шутку? Прости меня... я исправлюсь... Поцелуй меня; я хочу, чтобы ты меня поцеловала!

– Мадмуазель де Баржак, – сказала урсулинка, тихо отталкивая ее, – вы жестоки ко мне; я потеряла терпение и мужество. Вы меня не любите, вы меня ненавидите!

– Совсем нет, я люблю тебя, – возразила Кристина со своей обыкновенной пылкостью, – да, я люблю тебя, моя милая; но ты добра, а я зла. Раз сто хотела я отказаться от этих проклятых шалостей, и не знаю, какой черт... Полно, не сердись на меня на этот раз... Я исправлюсь, клянусь тебе... Ну, конечно? Поцелуй меня!

Она схватила обеими руками бледное и морщинистое лицо урсулинки и поцеловала ее несколько раз. Сестра Маглоар не могла удержаться, чтобы не улыбнуться сквозь слезы, видя, как откровенно Кристина признается в своих проступках.

– Ах, мадмуазель де Баржак! – сказала она. – Вы употребляете во зло мое снисхождение, мою слабость... Но я думаю иногда...

– Ты опять принимаешься за то же? Ведь ты меня простила... Слушай, в награду себе, ты увидишь, как я буду вежлива и любезна со всеми этими людьми в парадной гостиной. Ты сама меня не узнаешь. Обещаю тебе приятно улыбаться даже... твоим бенедиктинцам. Ты, кажется, мне сказала, что ждешь Жерома, эконома монастырского?

– Нет; по всей вероятности, сам господин приор захочет присутствовать при этом торжественном случае.

– Приор! Он строг меньше других, однако я люблю его больше, как ты думаешь, – продолжала она с притворным равнодушием, – он приедет один?

– Может быть, по обыкновению он возьмет с собой своего племянника, этого доброго мосье Леоне.

– Леоне! – повторила Кристина, вздрогнув. – Пойдем, пойдем, милая сестра! – прибавила она тотчас с живостью. – Если ты дашь охладеть моим добрым намерениям, я не ручаюсь ни за что.

Она хотела тащить урсулинку.

– Я иду, дитя мое, – сказала сестра Маглоар, свертывая свою работу, – но вы не можете явиться в этом костюме к благородным гостям, находящимся в замке. Ступайте в вашу комнату и позвольте, чтобы вас одели и причесали, как прилично девице вашего звания.

– Вот еще! – сказала мадмуазель де Баржак, соорудив гримасу. – Позволить насыпать белой муки на волосы и нарядиться в это длинное платье с фижмами, которое мне прислали из Парижа! Я не хочу. Я не буду уметь ни говорить, ни ходить, ни двигаться. Мне так хорошо, потому что мне ловко; пускай меня берут такой, как я есть.

– Но...

– Черт побери! Зачем же ты, сестра Маглоар, также не переоденешься?

– Я, дитя мое, монахиня, и не могу без особенного позволения моей настоятельницы снять одежду моего ордена.

– Ну а я не хочу снять мою верховую одежду.

И упрямая девушка, надвинув шляпку на ухо, с лукавым видом направилась в залу такими быстрыми шагами, что урсулинка с трудом могла поспеть за ней.

Глава шестая

Наступала ночь, и многочисленные свечи освещали, вместе с огнем в большом камине, залу, в которой находились гости Меркоарского замка. Одни еще ели и пили за столом, на который слуги беспрестанно ставили новые кушанья; другие отдыхали перед камином; третьи, наконец, составляли там и сям одушевленные и веселые группы. Однако когда явилась мадмуазель де Баржак, все поспешили к ней. Кристине хотелось бы войти одной и неприметно, но де Меньяк не хотел лишиться такого превосходного случая исполнить свою обязанность в присутствии блестящего собрания. В дверях залы он схватил за руку свою молодую госпожу и, растопырив руки, с улыбкой на губах, на цыпочках повел Кристину с важностью, медленностью, с заученным уважением, которые должны были вывести из терпения раздражительного, избалованного ребенка.

Однако она перенесла лучше, чем можно было ожидать, комплименты и приторные ласки, которыми осыпали ее наперебой. Она позволяла себя целовать дамам, называвшим ее: «моя милочка, моя красавица»; она не перебивала пошлостей, которые говорили ей старые дворяне времен регентства и любезники марлийские и версальские. Она сказала даже несколько любезных слов некоторым гостям и поблагодарила всех присутствующих с вежливостью за услугу, которую они оказывали ей, освобождая ее земли от страшного жеводанского зверя, словом – она до того не походила сама на себя, что некоторые гости не узнавали странную девушку, о которой рассказывали такие необыкновенные вещи. Но никто не был более поражен этой внезапной переменой, как кавалер де Меньяк и сестра Маглоар; они стояли в нескольких шагах позади своей госпожи и любовались ею с восторгом и восхищением.

– Совершенство, сестра моя! – прошептал кавалер, нюхая табак.

– Ангел, кавалер! – сказала урсулинка, поднимая глаза к небу.

Они были менее довольны тем, что последовало за этим. Ларош-Буассо более всех ухаживал за мадмуазель де Баржак, которая приняла его с дружеской фамильярностью. Скоро, рассеянно взяв стул, она села между бароном и молодым человеком, щегольски одетым, с живым взором, вкрадчивым обращением, который слыл за поверенного Ларош-Буассо и следовал за ним повсюду.

Молодой человек, который должен играть довольно важную роль в этой истории, звался Легри; он был сын очень богатого прокурора, который уже несколько лет назад сумел втереться в милость барона и давал ему денег взаймы. Без сомнения, Легри-отцу было это выгодно, и носились слухи, что он уже взял в заклад лучшую часть наследственного имения расточительного дворянина. Однако самые дружеские отношения существовали по наружности между Ларош-Буассо и обоими Легри, отцом и сыном. Этот последний, хотя низкого, и даже очень низкого происхождения, хотел втереться в высшее общество. Ларош-Буассо исполнил это желание и познакомил молодого мещанина с некоторыми дворянами, такими же развратными, как он сам, и неразборчивыми в выборе своих собеседников. По милости этого покровительства эти дворяне принимали Легри-сына на равной ноге, а так как он всегда проигрывал несколько луидоров в карты, одевался богато, не очень сердился на насмешки над его происхождением, его терпели в этих аристократических собраниях. Притом барон, глава и предводитель этих собраний, не позволял, насмехаясь иногда над своим протеже, чтобы другие позволяли себе эту же вольность, и никто не был довольно смел, чтобы подвергать себя вражде, которая была опасна, как всем было известно.

Искренно ли было участие Ларош-Буассо к сыну его заимодавца? В этом вообще сомневались. Одни уверяли, что Легри был для барона вроде шпиона, которому поручено наблюдать за его поступками. Другие уверяли, напротив, что Ларош-Буассо, действуя таким образом, имел единственной целью угодить бывшему прокурору и посредством сына выманивал

у отца большие суммы. При этом мещанин играл роль друга так, что не оскорблял раздражительную гордость своего покровителя. Он угождал ему до раболепства. Ларош-Буассо не мог сказать ни слова, не мог сделать самого незначительного поступка, чтобы тот не расхвалил его до чрезмерности и не осыпал лестью. Сверх того, Легри был надежным и искусным поверенным во всех возможных поручениях, которые были бы противны деликатности менее преданного товарища. Стало быть, не было ничего невероятного, что подобный друг почти сделался необходим для человека с характером барона, и может быть, Ларош-Буассо имел к Легри некоторую привязанность, если только барон Ларош-Буассо мог любить кого-нибудь, кроме самого себя.

Оба друга были разлучены несколько дней, но Легри считал себя обесславленным, если бы не участвовал в меркоарском собрании, и барон, который думал, что ему понадобится помощь его верного друга, позаботился пригласить его. Они встретились в замке, и Кристина де Баржак, столь любезная к барону, не могла не принять благосклонно Легри, который явился под его покровительством.

Разговор одушевлялся все более и более между этими тремя особами. Но ни кавалер, ни сестра Маглоар не были в восхищении от этого обстоятельства. В особенности Ларош-Буассо, со своей надменной наружностью, самоуверенным обращением, щегольским голубым бархатным мундиром с серебряными галунами, очень им не нравился. Длинное лицо кавалера как будто сделалось еще длиннее, а урсулинка, только что предававшаяся таким чудным мечтам, опять принялась жалобно вздыхать.

Оба незаметно приблизились послушать, что говорилось в этой отдельной группе.

– Мне стыдно думать, – продолжал барон, – что я, охотник такой ничтожный в сравнении с бывшими меркоарскими владельцами, буду распоряжаться охотой на волка в их поместье! Это кажется мне похожим на профанацию, и если бы ваше желание, так же, как и мой долг, не принуждали меня исполнить эту обязанность, я отказался бы из уважения к этим знаменитым охотникам, о которых так много было сказано.

Эта дань, возданная памяти ее родных, произвела сильное впечатление на Кристину де Баржак; ее глаза сверкнули необыкновенным блеском.

– Ах, как хорошо судите вы о моем возлюбленном отце и о моем превосходном дяде Гилере! – вскричала она. – При их жизни хищный зверь никогда не сделался бы опасен в наших лесах, как тот, который причиняет столько несчастий теперь; он был бы убит через двадцать четыре часа после своего первого злодейства... Но, – продолжала она, преодолев свое волнение, – так как тех, о которых мы говорим, уже нет на свете, чтобы защищать свои владения, они не могут быть заменены более неустрашимым и искусным охотником, чем барон Ларош-Буассо.

Несмотря на приличие этого ответа, кавалер и урсулинка все менее и менее казались довольны своей воспитанницей, особенно же когда она прибавила:

– Впрочем, я, дочь и племянница этих знаменитых охотников, не останусь праздною, когда столько знатных особ оказывают мне услугу. Будьте уверены, господа, что завтра я вместе с вами буду разделять усталость и опасности... если опасности будут, – прибавила она, презрительно улыбаясь.

– Так следует говорить достойной дочери храброго графа де Баржака! – вскричал барон. – Ну, графиня, если вам угодно ехать с нами, позвольте начальнику охоты быть вашим кавалером на целый день и не оставлять вас ни на минуту.

– Очень охотно, барон, – возразила просто Кристина, – я думаю, что лучшее место будет возле вас.

– И я также, – сказал Легри, жеманясь, – я добиваюсь чести быть телохранителем графини де Баржак.

– Как вам угодно, мосье Легри, – равнодушно отвечала Кристина.

Де Меньяк, узнав распоряжение, лишившее его на завтра обыкновенной должности, закусил губы, покачал головой и пробормотал сквозь зубы, так что его слышала только гувернантка:

– Ну, господа франты, мы еще увидим!

Между тем разговор сделался общим.

– Вы думаете, барон, что мы скоро разделаемся с этим проклятым животным, которое позволило себе поселиться в лесу нашей очаровательной хозяйки? – спросил граф де Лаф-френа.

– Я в этом уверен, любезный граф.

– А если мой благородный друг барон утверждает это, – вмешался Легри, – в этом нельзя сомневаться.

– В охоте ни в чем нельзя быть уверенным, – возразила Кристина, – отец мой, бывший авторитетом в этом отношении, имел привычку это говорить.

– Графиня права, – перебил Ларош-Буассо, – никто не может знать заранее, как кончится охота. Однако мы ничем не будем пренебрегать для того, чтобы она имела желанный успех. Я привел Бадино, моего лучшего охотника, и сам намерен завтра осмотреть лес при первых дневных лучах. Не узнали ли о каком-нибудь новом злодействе этого животного после вчерашнего приключения?

– Я не знаю, – возразила Кристина де Баржак, – зверь все находится в Монадье, в двух лье отсюда... Но, – прибавила она с легким беспокойством, – он может и теперь быть опасен, а я не вижу еще друзей, которых мы ожидаем.

Кавалер и урсулинка с живостью перешептывались между собой. Но прежде чем они успели сообщить свои замечания Кристине, Ларош-Буассо вскричал вдруг с насмешкой:

– Вы заставили меня вспомнить! Я не вижу еще здесь этих бедных фронтенакских бенедиктинцев, которых я оставил в Лангони в гостинице вдовы Ришар... Однако они должны были следовать за нами; уж не съел ли их волк, которого они так боялись?

– Святая Дева! Что он говорит? – прошептала урсулинка, сложив руки.

– Барон, – спросил де Меньяк, – вы говорите о почтенных фронтенакских бенедиктинцах, которые запоздали в дороге?

– Без сомнения! – отвечал Ларош-Буассо небрежным тоном. – Их было двое, молодой и старый; они должны были оставить Лангонь вскоре после меня. Право, смешно, если они заблудились в этом густом тумане и были принуждены ночевать в лесу. Если так, какую ночь проведут эти бедные бенедиктинцы! Они, верно, прочли *pater* и *ave*, чтобы очистить лес от всех ругательств, которыми его осквернили настоящие и прошлые охотники. Я бьюсь об заклад, что завтра, несмотря на их длинную одежду, их найдут в каком-нибудь гнезде сорок или белок!

Легри расхохотался.

– И, верно, волки окружают дерево, на котором они сидят, – сказал он с насмешкой.

Присутствующие расхохотались, но тотчас смолкли, приметив, что хозяйка нахмурила брови.

– Барон, – спросила она с дурно сдерживаемым волнением, – вы знаете этих двух бенедиктинцев, которых вы видели в Лангони, и можете их назвать?

– Кажется, один был Бонавантюр, приор аббатства, – сказал Ларош-Буассо равнодушно, – а другой... другой, если я не ошибаюсь, родственник, слуга, секретарь приора, что-то в этом роде.

– Нет сомнения, – вскричала Кристина, – это Леоне!

– Леоне? Да, в самом деле, кажется, так при мне называли этого молодого человека.

Кристина поспешно встала.

– Кавалер де Меньяк и сестра Маглоар, – сказала она, – распорядитесь, чтобы мои люди тотчас отправились отыскивать наших заблудившихся гостей; пусть осмотрят лес с факелами,

пусть кричат, пусть трубят в рога... Нет, я сама лучше поеду верхом; прикажите Мориссо провожать меня на рыжем.

– Прекрасно, дитя мое, у вас доброе сердце! – прошептала урсулинка.

Присутствующие очень удивились перемене в молодой хозяйке.

– Право, графиня, – сказал Ларош-Буассо весело, – я не понимаю вашего великодушия. Что за беда, если эти бенедиктинцы ночуют на дереве? Это будет случаем для них размышлять и молиться, не рискуя ничем, кроме насморка.

– Молчите, барон, – перебила Кристина сухо, – я не могу позволить подобных шуток. Приор Бонавантюр – самый лучший, самый благоразумнейший из бенедиктинцев аббатства, и он всегда был добр ко мне. Племянник его, мосье Леоне, друг моего детства; я не утешусь, если с тем или другим случится несчастье... Как, мосье де Меньяк, вы еще здесь? – обратилась она к своему шталмейстеру.

– Я иду, графиня; но позвольте мне смиренно представить вам, что вам невозможно оставить таких прекрасных и благородных гостей и отправиться с нами в лес; это будет неприлично...

– Неприлично! Неприлично! – повторила гордая молодая девушка. – Вот вы выговорили ваше великое слово, кавалер... А разве мои распоряжения будут оспаривать? Разве я уже здесь не хозяйка? Но если мне отказываются повиноваться, я поеду одна...

– Графиня! – вскричал барон. – Позвольте мне проводить вас. Я часто отыскивал след оленей и косулей, – прибавил он вполголоса, – но никогда бенедиктинцев; это будет охота в новом роде.

– Я также прошу чести провожать мадмуазель де Баржак, – сказал Легри, по обыкновению взяв образцом и примером своего патрона Ларош-Буассо.

– И я также! И я также! – вскричали охотники со всех концов залы.

– Как вам угодно, господа, – сказала хозяйка, – таким образом, меня не будут упрекать, что я бросаю гостей... Но поспешим, становится поздно. Ночь темна, и я боюсь...

– Да будет с вами мир Господень! – раздался вдруг слабый голос в дверях.

Кристина де Баржак и следовавшие за ней остановились. Вошел приор Бонавантюр в довольно жалком виде, поддерживая бедного Леоне, который шел с трудом, завернутый в плащ пастуха.

Меркоарские гости вскрикнули от удивления, а некоторые от радости, потому что ночная прогулка не весьма им нравилась. Графиня де Баржак выказала живейшее удовольствие.

– Ах, мой преподобный отец! Вы ли это, наконец? – вскричала она, подбежав к путешественникам. – Будьте дорогими гостями в Меркоаре, вы и мосье Леоне. Мы начали очень тревожиться и хотели ехать... Но, боже мой! Что с вами случилось?

Кристина заметила расстроенный вид бедного бенедиктинца и бледность, уныние и слабость Леоне.

– Вы скоро это узнаете, дочь моя, – сказал приор, – но позвольте мне прежде посадить этого бедного юношу. Я не знаю, зачем привели нас сюда, помешали этому веселому собранию, вместо того, чтобы отвести нас в нашу комнату... Слава Богу! Он помог нам в минуту опасности!

Говоря, таким образом, он довел племянника до кресла, которое урсулинка поспешила подвинуть. Молодой человек, казалось, не столько страдал, сколько находился в замешательстве, и общее внимание, которого он был предметом, вызвало на его щеки мимолетный румянец. Этот румянец сделался еще заметнее, когда глаза его встретились с глазами графини де Баржак.

– Мосье Леоне, – вскричала Кристина, не будучи в состоянии преодолеть своего нетерпения, – что с вами? Вы ранены?.. Да, да, боже мой! Ваше платье разорвано... вы покрыты кровью!

– Это ничего, почти ничего, – возразил Леоне, усиливаясь улыбнуться, – простая царапина жеводанского зверя.

– Зверь! Зверь! Опять зверь! – вскричала Кристина, топнув ногой с каким-то отчаянием.

– Это чудо, как мы еще живы, дочь моя, – сказал приор, также упавший на кресло со стоном, – этого бедного мальчика чуть не растерзал зверь.

– Леоне! Мой милый Леоне! Правда ли это? – спросила Кристина.

И все заметили, каким особенным тоном эта странная девушка, так плохо умеющая скрывать свои чувства, произнесла слова: «Мой милый Леоне!»

Молодой человек продолжал слабо улыбаться.

– Дядюшка преувеличивает, – пролепетал он, – завтра, вероятно, все пройдет.

– Этот зверь, – сказал барон презрительным тоном, – о котором столько говорят, решительно наносит более страха, чем вреда, и люди, которых он растерзывает, кажется, находятся в добром здоровье.

Леоне не отвечал на это замечание и отвернулся, но приор с живостью сказал:

– А! Барон Ларош-Буассо, это вы? Ну, ваша надежда, когда вы оставили нас одних и безоружных в Меркоарском лесу, отчасти осуществилась... Да простит вам Бог ваш недостаток сострадательности!

– Это значит, без сомнения, что вы мне не прощаете? – спросил барон надменно. – Хорошо; я имею привычку ничего не бояться.

По настоятельным просьбам Кристины де Баржак Бонавантюр вкратце рассказал, как туман стал причиной, что они заблудились в лесу; как лошаки, испуганные внезапным жутким воем, поскакали сломя голову; как, наконец, Леоне был выбит из седла и неминуемо погиб бы, если бы Жан Годар не подоспел со своей собакой.

– Годар будет вознагражден! – вскричала Кристина де Баржак. – Слышите ли вы, кавалер? Я делаю его с этой минуты главным пастухом во всех моих поместьях. Но посмотрим вашу рану, Леоне; сестра Маглоар и я, мы знаем несколько хирургии, мы можем сделать первую перевязку, пока поедут за доктором в город.

– Как! Графиня, вы хотите сами, при всех...

– Полно ребячиться! Уж не принимаете ли вы меня за смешную жеманницу... Я этого требую!

В то же время с непреодолимым самовластием она раскрыла грубый плащ, в который был закутан Леоне. Бархатное платье, как мы знаем, было разорвано, и виднелось белое и нежное плечо юноши; когда сняли окровавленные платки, которыми была сделана первая перевязка, кровь брызнула снова из широкой и глубокой раны, хотя, может быть, рана была не слишком опасна.

– Ужасная рана! – сказала Кристина, побледнев и преодолевая свое волнение. – Сестра Маглоар, скорее перевязку и холодной воды... Потом принеси мне корпии и нашего фамильного бальзама... Чего мешкают эти глупые служанки?... Кожа ужасно расцарапана!

– Это? – решительно сказал барон, проскользнувший между любопытными и рассматривавший рану в свою очередь. – Это укус большого волка? Клянусь честью дворянина, я не могу допустить ничего подобного... Такое животное, как жеводанский зверь, раздробит кости одним ударом челюсти и сделает на коже своими когтями две борозды в два дюйма глубины. А пусть-ка покажут мне здесь знак этих огромных зубов, этих железных когтей, которые сделали уже столько жертв в этом краю! Я ссылаюсь на всех охотников, слышавших меня, на всех, кто мог видеть страшные раны, которыми покрыты собаки после охоты за волком!

Подозрение, заключавшееся в этих словах, возбудило некоторое волнение в Леоне, несмотря на его слабость и страдания.

– Признаюсь, – отвечал он, – что, оглушенный моим падением, запутавшись в терновнике и в шипах, я не мог обернуться, чтобы увидеть...

– А-а-а! – перебил Ларош-Буассо. – Вы уже не так уверены... Притом, что это за волк, который днем сам объявляет о себе воем, прежде чем нападет? Это не может быть жеводанский зверь, который, по всем слухам, имеет привычку бросаться на свою добычу и уносить ее молча. Еще раз я обращаюсь к опытным охотникам, здесь присутствующим, вероятно ли, чтобы свирепое животное...

– Но когда так, барон, – возразил с нетерпением приор, – вы нам скажете, по крайней мере – вы столь опытны в подобных вещах, – какое неизвестное животное испугало наших лошаков и ранило этого несчастного ребенка? Рана существует, она не пригрезилась ему!

– Кто знает! – сказал с насмешкой Ларош-Буассо. – У страха глаза велики... Сломанная ветвь очень могла расцарапать таким образом белое плечико нашего юноши, и если уж надо приписать эту царапину какому-нибудь лесному зверю, я скажу, что это была дикая кошка, куница, волчонок, еще сосущий свою мать, но уж ни в каком случае не такой старый, огромный волк, как жеводанский зверь!

Это мнение, так ясно выраженное, возбудило прения между присутствующими, и они начали перешептываться с жаром. Даже сам приор поколебался в своем убеждении.

– Правда, – сказал он, – что ни я и никто не видел зверя, но мне кажется невозможным...

– Вы слышите, господа? – перебил барон с торжествующим видом. – Сознаются, что никто среди всеобщего страха не видел зверя... Я не требую ничего более. Решительно, преподобный отец и его племянник слишком поспешили представить себя страдальцами, и вся эта прекрасная история, как вы видите, оказывается простым падением с лошака!

Эти исполненные ненависти слова, хотя по наружности небрежные, заслуживали строгого ответа со стороны приора, но Бонавантюр только пожал плечами, бросив на Ларош-Буассо презрительную улыбку.

Между тем Кристина де Баржак не принимала никакого участия в этом разговоре; поглощенная попечениями, которыми окружала раненого, она даже, по-видимому, как будто ничего не слышала. Сама обмыв рану, она наложила перевязку, приготовленную сестрой Маглоар, очень опытной в подобных вещах. По окончании перевязки, Леоне хотел поблагодарить престелстную хозяйку, но или тайное волнение слишком растревожило его, или потеря крови возбуждала в его организме пагубное расстройство, язык его запутался с первых слов, глаза закрылись и он лишился чувств.

Это происшествие взволновало все собрание, но никто не испугался так, как Кристина, которая, однако, была так мужественна и так не склонна к слабостям своего пола.

– Праведный Боже! Он умирает! – закричала она, – Неужели у него есть рана еще опаснее этой? Сестра Маглоар... преподобный отец... Помогите! Помогите! Он умирает!

Слуги прибежали в испуге, сами не зная, что они делают.

– Ба! Это только обморок, – спокойно сказал Ларош-Буассо, – спрысните его водой; обыкновенно это заставляет опомниться нежных щеголих.

Но, несмотря на обыкновенное попечение, обморок не проходил.

– Леоне! Мой бедный Леоне! – говорил приор со слезами на глазах.

– Леоне! Друг моего детства... мой возлюбленный брат! – звала Кристина, наклоняясь к нему.

Наконец эти дружеские слова как будто произвели благоприятную реакцию: молодой человек вздохнул и раскрыл глаза.

– Он жив! – вскричала Кристина.

Леоне в самом деле начал узнавать окружающих.

– Теперь надо перенести его в приготовленную для него комнату, – сказала урсулинка, – спокойствие и сон окончательно восстановят его здоровье.

– Да, да! – сказала Кристина де Баржак. – Этот шум, это движение должны тревожить его. Пьер, – обратилась она к сильному лакею, стоявшему возле дверей, – возьми мосье Леоне

на руки и отнеси в зеленую комнату... Леонарда тебе посветит... Иди потихоньку; ты видишь, что он ранен!

Пьер повиновался; когда он с осторожностью приподнимал Леоне, тот болезненно вскрикнул. Кристина прыгнула, как пантера, и подняла руку, чтобы ударить неловкого слугу.

– Дурак! Осел! – закричала она. – Ведь я тебе говорила... постой! Я помогу тебе, и беда, если ты еще сделаешь какую-нибудь неловкость!.. Ты, Леонарда, ступай вперед.

Говоря таким образом, она обвила руками стан раненого и положила на свое плечо бледную голову Леоне. Она походила на мать, уносящую своего спящего ребенка.

Этот поступок, столь не согласовавшийся с принятым этикетом, изумил урсулинку и кавалера. Де Меньяк устремился к ней с мужеством отчаяния.

– Графиня, – сказал он, – подумайте, сделайте милость! Это неприлично... Позвольте, я сам...

Кристина не удостоила его ответом, но, обернув голову к своему несчастному советнику, бросила на него такой повелительный, такой угрожающий взгляд, что бедняга окаменел.

– Это похищение! – сказал Ларош-Буассо, плохо скрывавший свою досаду под принужденной веселостью. – Это совершенно похищение!.. Ну, господин приор, что вы думаете о вашей робкой воспитаннице?..

– Не имейте дурных мыслей, господа, – сказал бенедиктинец, обращаясь к присутствующим, – эти бедные дети невинны, как Адам и Ева, только что созданные!

Он сделал знак сестре Маглоар, и оба они поспешили догнать молодых людей.

Через час гости Меркоарского замка разошлись, и барон Ларош-Буассо задумчиво прохаживался по своей комнате, размышляя о происшествиях этого дня.

– Да, да, – бормотал он, – этот молокосос любит графиню де Баржак! Я подозревал это утром, когда увидел, с каким жаром он говорил о ней; они виделись в детстве, и любовь, которая живет противоположностями и контрастами... Но может ли она любить его? В этом-то и затруднение. Она почти компрометировала себя для него сегодня, и со стороны другой это неблагоразумное поведение было бы значительно, но с этим диким существом, всегда доходящим до крайностей в своих впечатлениях, как и в своих желаниях, можно ли быть уверенным в чем-нибудь? Если, однако, она его любит? Это нелепо, стало быть, это возможно. В таком случае подобная любовь не могла бы избежать проницательности хитрого приора. А приор благосклонно смотрит на эту рождающуюся короткость, и можно подумать даже, что он покровительствует ей. Неужели он замышляет... Черт побери! Может быть, я напал на след открытий.

Он ускорил шаги, как бы помогая усилиям своего разума.

– Нет более сомнений, – продолжал он, наконец, ударив себя по лбу, – эта политика бенедиктинцев, терпеливая и извилистая, как змея... Этот честолюбивый приор задумал осчастливить своего родственника, отдав ему руку богатой наследницы. Он всемогущ в Фронтенаке, он опытен в людях, он удивительно хитер, он должен употреблять разные проделки, чтобы достигнуть этого результата, и он раздувает взаимную привязанность этих детей... Черт побери! Если так, а это так, я буду иметь дело с сильными противниками и могу выпутаться только мастерскими ударом... ударом смелым, быстрым, который бы поразил как гром!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.